Гинзбург, Лев Владимирович

Бездна

Несколько разрозненных документов

I

…Большевизм является смертельным врагом национал-социалистской Германии. Это враг не только военный, но и политический, в смысле разрушительного влияния на народы.

Поэтому большевистский солдат потерял всякое право на обращение с ним как с честным солдатом, согласно Женевскому договору.

Особые условия Восточного похода требуют беспощадных и энергичных действий при малейшем намеке на сопротивление, в особенности по отношению к большевистским активистам, политрукам и пр…

Особые мероприятия должны быть свободны от бюрократических и административных влияний, и их нужно проводить с чувством ответственности и долга.

Ранее всего нужно выявлять:
Всех известных служащих государственного аппарата и партии. В особенности профессиональных революционеров.
Сотрудников коминтерна. [6]
Всех руководящих работников коммунистической партии Советского Союза и родственных ей организаций, ЦК, областных и районных комитетов.
Всех наркомов и их заместителей.
Всех бывших политкомиссаров красной армии.
Руководителей центральных и промежуточных инстанций государственных органов.
Руководящих лиц хозяйственной отрасли.
Советско-русских интеллигентов и евреев…
Всех лиц, которые установлены как подстрекатели или фанатичные коммунисты…
Экзекуции должны проводиться так, чтобы это не бросалось в глаза. Их нужно осуществлять в уединенных местах… Нужно заботиться о немедленном и аккуратном погребении трупов.

(Из инструкции для зондеркоманд)

II

…Чтобы в корне подавить недовольство, необходимо по первому же поводу незамедлительно предпринимать наиболее жестокие меры… При этом следует иметь в виду, что человеческая жизнь в оккупированных странах абсолютно ничего не стоит и что устрашающее воздействие возможно лишь путем применения необычной жестокости…

(Из инструкции верховного командования германской армии)

III

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЯЙТЕ О ПАРТИЗАНАХ И ИХ СОТРУДНИКАХ! ЗА СВОЕВРЕМЕННЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ НАЗНАЧЕНЫ ВЫСОКИЕ ПРЕМИИ. В ДЕРЕВНЯХ КРЕСТЬЯНЕ ПОЛУЧАТ УЧАСТОК ЗЕМЛИ, В ГОРОДЕ — ДО 1000 РУБЛЕЙ. ПОМНИТЕ, ЧТО НАГРАДЫ СЛЕДУЮТ ТОТЧАС ЖЕ. [7]

IV

…Немцы должны выступать против русских дружно. Даже ошибку немца нужно повернуть против русского… Не разговаривайте, но действуйте. Русских вы никогда не переговорите и разговорами не убедите. Говорить они могут лучше вас, ибо они прирожденные диалектики и унаследовали «философские наклонности»…

Вы должны действовать. Русским импонирует только действие, ибо сами они женственны и сентиментальны… Сохраняйте необходимую дистанцию от русских: они не немцы, а славяне…

(Из «12 заповедей поведения немцев на востоке и обращения с русскими»)

V

…Докладываю, что города Мариуполь и Таганрог от евреев очищены полностью…
В Таганроге установлено, что русским населением предпринималась попытка установить связь с красными посредством почтовых голубей. В Таганроге ликвидировано 20 коммунистических функционеров, из них десять подвергнуты публичной казни. Деятельность команды сосредоточена сейчас на контрразведывательной работе и вскрытии партизанских групп.

(Из донесения начальника зондеркоманды СС 10-а)

VI

ИЗ ФАШИСТСКОЙ ГАЗЕТЫ «НОВОЕ СЛОВО» (ТАГАНРОГ)

…Мы свободны! Мы больше не рабы! Пора понять, что только слова и слезы благодарности это еще не все, что надо воздать нашему великодушному спасителю — непобедимой Германской Армии. Чем же отвечают русские люди на щедрый и незаслуженный дар? Мы уже видим, чем! Уже несколько наших доблестных спасителей — германских солдат и офицеров пали жертвой подлых, предательских ударов из-за угла!
(27/10 1941 г.) [8]

Несколько слов о культуре быта

Немецкий комендант города вынужден был обратиться к бургомистру с письмом, в котором с прискорбием обращал внимание на участившиеся случаи невежливости населения по отношению к представителям Германской Армии, в частности, в

непочтительном отношении к солдатам и даже офицерам, в нежелании уступать последним дорогу и в проявлении в разных мелких случаях публикой своей дикости и невоспитанности… Даже советская пропаганда и ТАСС не решаются приписать красной армии столько побед, сколько ей приписывается нашими согражданами…

(3/VII 1942 г.)

…*продается кормовой бурак (мороженый)* …

VII

НЕМНОГО ИСТОРИИ

…Действительная история германо-русских отношений говорит прямо противоположное иудейско-большевистской стряпне. В смене исторических эпох Германия выступает как благородная нация, как чистейший выразитель высшего типа мышления и культуры арийских народов, как богатырский боец за культуру человечества, как старший брат и руководитель других народов.

Еще в IV в. после Р. Х. Восточная Европа… входила в состав великой германской Остготской державы, во главе которой стоял благородный род Амалов…

VIII

ПИСЬМО ИЗ ТАГАНРОГСКОЙ ТЮРЬМЫ

Тоня, я очень печальную новость узнала, что меня этапом отправлять будут, но ничего, буду терпеть, я все равно погибну… Я вас прошу, не обижайте Лианочки. В 10 часов утра в пятницу будут меня гнать, старайтесь меня видеть, договоритесь как-нибудь устроить свидание и очень прошу — Лианочку хочу [9] видеть, приведите ее сюда, может, дадут попрощаться. У меня мечты только за нее, я не знаю, почему она такая несчастная…

Может, не хотят говорить, что меня расстреляют, но вообще узнай точно, а если нет, то принесите завтра какое-нибудь темное платье, рубашку, у меня порвались боты, резина поотклеивалась, говорят, что сто километров пеши идти, не знаю, насколько верно. Продай мои туфли, купите хлеба на дорогу, но только устройте, чтоб я увидела Лианочку, узнайте, по какой дороге поведут, может, Клавдия подойдет туда с Лианочкой, я хоть попрощаюсь, если у вас есть чувства материнские. Я больше ее не увижу и вас. Как тяжело расставаться. Я прошу всех, помогите проводить меня, ибо я с вами больше не встречусь. Вы будете жить, а я обливаться кровью…

Я вам пишу, а вы мне ни единого раза не отвечали, как вы живете и как моя золотая дочечка, интересно, у кого она останется жить, вот ей, бедной, досталась доля. Пока до свидания, прошу вас убедительно сделать, о чем прошу в записке, не обижайте, последний раз привет всем, отцу, матери, Жене, бабушке, тете Кате, всем ребятам твоим

и детям и моей дочечке. Целую вас всех крепко и свою белокурую Лианочку целую в глазки и в лобик…

IX

Г-НУ НАЧАЛЬНИКУ
ЗАЕВЛЕНИЕ

Прошу Вашего Величества разобрат дело Глушенко Петра Петровича, т. к. он при советах работал в рыболоветском хозяйств Н. К. В. Д. не могу сказат чем.

В настоящее время работает рыбзавод отдел добычи смотрителем: работает не чесно имеет свои сети и понемногу рыбачит, но плана на это и права никакого не имеет, это одно, а второе — человек нового порядка чужд, могу сказат — прямо жаждает советской власти. Быв. кулак Игнатенко Михаил Матвеевич, при сужении фронта, вернулся обратно в г. Таганрог, Глушенко П. П. Игнатенку М. М. в глаза говорит чево ты вернулся все равно прийдут красные тебя расстреляют. По этому [10] делу советую первым вызват Игнатенко Михаила Матвеевича, проживает 2-й крепостной № 106, а Глушенко Петр Петрович — 2-й крепостной № 108.

Второе положение: Директор отдела добычи Т. Р. З. г-н Ковалев человек чесный, действительно бореться за новый порядок, но его окружает чуждый элемент и работат ему тяжело, надо ему помочь. Советую Вашему Величеству: надо вызвать г-на Ковалева, он дасть кое-что, такой-то материал на Глушенко П. П. и старых рыбаков.

К сему — Ярошенко Иван Васильевич, г. Таганрог, 2-й Крепостной № 104.

X

НОМЕР ПОЛЕВОЙ ПОЧТЫ 32704 П/№ 40/42 16. 5. 1942.
СС-ОБЕРШТУРМБАНФЮРЕРУ РАУФУ
ДОКУМЕНТ 501

У «Зауер-вагена», который я перегонял из Симферополя в Таганрог, были повреждены тормоза. В зондеркоманде Мариуполь было установлено, что манжеты комбинированного воздушного масляного тормоза в нескольких местах лопнули. Удалось отлить формы, по которым были изготовлены два манжета… Мелкие повреждения в машинах будут устранены мастерами команд в мастерских. Из-за неровности местности, не поддающихся описанию дорог и состояния автострад происходят поломки газовых автомобилей… Чтобы сократить расходы, я дал указание непрочные места залатывать самим, а если это невозможно, сейчас же извещать Берлин телеграфом, что машина полевая почта №… выбыла из строя.

Кроме того, я распорядился при проведении отравления газом держать солдат команды дальше от машин, с тем чтобы при частичном выходе газа не повредить их здоровью. При этом хотел бы обратить внимание на следующее: после проведения газации в некоторых

командах выгрузка поручается личному составу этих команд. Я уже обращал внимание начальников зондеркоманд на то, какие ужасающие душевные и физические последствия может оказать эта работа на личный состав, если не сразу, то впоследствии. Солдаты команд жаловались мне на головную боль, которую они испытывают после каждой выгрузки. [11] Тем не менее этот порядок продолжает сохраняться, т. к. существует боязнь, что в случае использования на этой работе самих узников последние могут улучить благоприятный момент для совершения побега. Чтобы избавить личный состав зондеркоманд от упомянутых выше последствий, прошу дать соответствующее распоряжение…
Д-р Бекер, СС-унтерштурмфюрер

XI

…Гений Гитлера и его лучшая в мире победоносная армия сделали неосуществимой попытку большевиков изменить ход войны в свою пользу… В целях сокращения Кавказского фронта германскими войсками оставлены города: Георгиевск, Пятигорск и Минеральные Воды…

(Из корреспонденции в газете «Панцер форан») [12]

Вместо предисловия

В этой книге речь пойдет о большой беде, которая произошла с человечеством, о беде, которая унесла в могилу миллионы наших людей, — ее не избыть, не утешиться в забвении. Сколько бы ни прошло лет, эта беда будет властно напоминать о себе, вновь и вновь требуя осмысления всех ее сторон, причин и последствий.

Вторгшаяся к нам 22 июня 1941 года, эта беда была полнейшей неожиданностью для многих ее жертв, которые хоть и читали и слышали о жестокостях немецкого фашизма, но все же не могли предположить, что именно из той страны, с которой у нас связывались традиционные представления о высокой духовной и материальной культуре, ринется на нашу землю не просто война, не просто вражеское нашествие, а людоедство, повальное человекоистребление, тщательно продуманное, идеологически обоснованное и оснащенное новейшей техникой. [13]

В инструкции для эсэсовских зондеркоманд перечислены категории лиц, подлежавших умерщвлению в первую очередь, однако все мы были заочно приговорены Гитлером к смерти: миллионы людей, зарытые в противотанковых рвах, в оврагах и в балках, истребленные в лагерях смерти и в гетто, напоминают о той участи, которая должна была постичь каждого из нас в случае победы гитлеровской Германии. Все это касается не только нас — сверстников погибших, но и наших детей, которые родились и выросли после войны и с трудом представляют себе всю степень угрозы, нависшей некогда над самой возможностью их появления на свет, угрозы *небытия* , отведенной от будущих поколений ценой неимоверных усилий и бесчисленных жертв.

Вспоминая пережитое, мы не можем отделаться от мысли о том, что если так называемая трагедия человечества дробится на множество отдельных

человеческих трагедий, то и преступление, совершенное фашизмом, делится на множество отдельных преступлений, совершенных множеством «отдельных» людей — с именами, фамилиями, званиями и должностями, людей, стоявших на разных ступенях фашистской служебной лестницы, но участвовавших в общем злодейском деле и поэтому несущих за него всю полноту ответственности…

Судебное преследование нацистских преступников началось в Советском Союзе еще в годы войны, на процессах в Краснодаре и в Харькове, ставших как бы провозвестниками Нюрнбергского суда народов, который в свою очередь вызвал серию процессов над гитлеровскими палачами различных чинов и рангов. Однако и сегодня, спустя целый исторический [14] период, продолжается поименное выявление организаторов и исполнителей эсэсовских зверств, которым удалось перехитрить время и врасти в мирную жизнь.

С некоторыми из них нам, по совершенно конкретному поводу, еще предстоит встретиться «лицом к лицу» в нашем повествовании, но и в предисловии есть смысл изложить кое-какие факты…

На берегу Азовского моря, в Ейске, долгие годы существовал детский дом для детей, больных костным туберкулезом.

9 октября 1942 года к детскому дому подъехала легковая машина, из которой вышли несколько эсэсовских офицеров. Они осмотрели помещение, прошли в кабинет директора и потребовали списки детей. Старший из офицеров сказал:

— Детей мы эвакуируем.

Директор спросил:

— Куда?

Ему не ответили.

Директор попробовал протестовать, офицер пожал плечами:

— Не понимаю, из-за чего вы переживаете?! В Германии таких детей вообще *не держат* , а Германия — страна цивилизованная.

Вскоре прибыл серого цвета автобус. Началась «погрузка». Дети пытались бежать, спрятаться на чердак, уползти за цветочную клумбу. За ними гнались взрослые мужчины, одетые в военную форму.

Когда в Ейск вошла Красная Армия, во рву, за городом, обнаружили двести четырнадцать трупов. Многие лежали, обняв друг друга…

В Западной Германии, в Вуппертале, на [15] Цунфштрассе, 20, живет человек по имени Курт Тримборн; он служит в местной больнице. Говорят, что у Тримборна темное прошлое, но сам он о себе ничего не рассказывает.

Курт Тримборн был тем самым эсэсовским офицером, начальником ейского отделения зондеркоманды СС 10-а, который явился к директору детского дома. Осмотрев дом, Тримборн доложил в Краснодар, начальнику зондеркоманды Кристману, о «наличии детей» и «необходимости провести операцию». Кристман направил в Ейск две душегубки. Руководство «операцией» вместе с Тримборном осуществляли врач Генрих Герц, унтерштурмфюрер СС (в наши дни он занимается в ФРГ медицинской практикой) и белоэмигрант Юрьев. Среди детоубийц находилась еще одна фигура, которую мы пока оставим в тени, до более близкого знакомства на

страницах нашей книги. Истребление ейских детей — всего лишь эпизод в бесконечном ряду зверств, но и его достаточно для того, чтобы спросить: почему, в чьих интересах в Западной Германии изыскивают юридические обоснования для того, чтобы избавить таких вот герцев и тримборнов от возмездия?

Это *наша* боль, *наше* дело, долг, возложенный на наше поколение: до конца рассчитаться за всех убитых, замученных, загубленных, рассчитаться за всех вместе и за каждого в отдельности — от прославленных мучеников, чьи имена высечены на граните и начертаны золотом на мраморе, до безвестного, еще не успевшего получить имени ребенка, оторванного от материнской груди и брошенного в могильный ров… [16]

Одна из зловещих особенностей фашизма состоит в том, что под свои зверства он подвел базу «исторической целесообразности» и попытался логически обосновать пытки, убийства, агрессию. Каждый, даже самый мелкий, палач получал от нацистского государства идеологическую «оснастку», достаточную для того, чтобы бестрепетно убивать и считать при этом, что он не только не совершает ничего безнравственного, а, напротив, является носителем «высшей морали», высших «нравственных ценностей». Фашистская пропаганда — литература, печать, радио, кино, фашистское «искусство», целая орава штатных ницшеанцев с теорией «сильного человека», препарированной для массового потребления и приспособленной к умственному уровню рядового гестаповского садиста, расистские проповедники «чистоты крови» незримо участвовали во всех зверских акциях.

Но психологической обработкой дело не ограничилось. Потребовались еще и ведомственные, юридические мероприятия, создание *правовых* норм бесправия, выработанных со всей прусской бюрократической тщательностью.

Убивая ни в чем не повинных людей, фашисты знали, что действуют в «рамках закона», впрочем ими же самими созданного. Поэтому не приходится удивляться тому на первый взгляд поразительному обстоятельству, при котором заботливые отцы, примерные мужья, люди вполне благовоспитанные и отнюдь не страшные в «быту», там, у себя на фашистской службе, совершали чудовищные бесчинства с садистскими вывертами и сладострастием.

В том-то и весь секрет, что злодейство при фашизме перестало противоречить морали, [17] порядочности, законности, а сделалось как бы составной частью фашистской «этики», обыкновенной служебной обязанностью и самым надежным источником дохода.

Между тем ссылки на закон, на приказ, на необходимость подчиняться дисциплине и исполнять свой служебный долг стали привычным аргументом, которым сейчас оправдывается каждый нацистский убийца. С другой стороны, авторы фашистских законов, гитлеровские идеологи и пропагандисты вообще избавлены в Западной Германии от всякой ответственности. Получается заколдованный круг: исполнители были «ослеплены» законодателями и поэтому заслуживают снисхождения, а законодатели не подлежат ответственности, так как не были исполнителями!

В нашей книге мы намерены более подробно рассмотреть эту проблему и даже сконструировали некий собирательный образ фашистского генерала Биркампа (впрочем, фигуры вполне реальной, существовавшей в действительности), чтобы проследить взаимосвязь между фашистской идеологией, фашистской «логикой» и злодеяниями фашизма и, совместив в одном лице идеолога и исполнителя зверств, развенчать порочную аргументацию, с помощью которой оправдывают нацистских преступников.

Воссоздавая образ Биркампа, мы хотели напомнить об особой опасности, которую представляет собой эгоистический и холодный расчет, бездушная алгебра «целесообразности», когда речь заходит о жизни и смерти не только отдельных людей, но и целых народов. Нам представлялось важным сказать и о той ответственности, которую несет любой человек, состоящий на службе у реакции, у преступных режимов [18] и совершающий бесчеловечные поступки, даже если эти поступки разрешены или прямо предписаны ему законами, приказами и уставами.

* * *

…В основу этой книги положены материалы судебного процесса над карателями из гитлеровской зондеркоманды СС 10-а, который состоялся осенью 1963 года в Краснодаре.

Зондеркоманды — то есть команды особого назначения — занимались непосредственным истреблением людей. В командах имелись специалисты по всем видам смерти: по расстрелу, повешению, удушению в газовом автомобиле, по заталкиванию в душегубку и закапыванию трупов.

Вслед за немецкими фронтовыми частями зондеркоманды входили в города, проводили несколько молниеносных акций — регистрацию и расстрел всех евреев, цыган, членов семей советского и партийного актива; затем начиналась повседневная «служба смерти»: выявление и ликвидация коммунистов, комсомольцев, подпольщиков, партизан, уничтожение больных, престарелых и вообще «сведение численности населения до минимума».

Одной из таких команд была и зондеркоманда СС 10-а, оставившая свой кровавый след в Крыму, в Мариуполе, в Таганроге, Ростове, Краснодаре, Ейске, Новороссийске, а затем в Белоруссии и в Польше.

Офицерами зондеркоманды были немецкие эсэсовцы, прошедшие особую подготовку в Германии и накопившие «опыт» в борьбе с немецкими антифашистами. В качество рядовых в команду входили изменники Родины, перебежчики и отщепенцы, специально [19] завербованные на оккупированной территории или в лагерях для военнопленных. Вместе с немцами и под их руководством они принимали непосредственное участие в массовых казнях, в операциях против партизан, в облавах, арестах, а также несли конвойную и охранную службу.

В 1943 году в только что освобожденном от фашистов Краснодаре состоялся первый процесс над группой этих изменников, захваченных нашими войсками. Позднее значительная часть карателей из зондеркоманды СС 10-а также была выловлена и предана суду, однако некоторым из них удалось скрываться довольно длительное время: одни затерялись в глухих,

отдаленных местах; другие, выдав себя за вспомогательных служащих, непричастных к массовым зверствам, смогли обмануть следствие и отделались сравнительно легкими наказаниями; третьи отступили вместе с немцами на территорию Германии и других стран и осели там под видом перемещенных лиц.
Между тем все эти годы органы государственной безопасности продолжали неустанный розыск гитлеровских пособников, чтобы все они, до единого, предстали перед советским судом и понесли полную меру заслуженного ими возмездия.

В конце 1962 — начале 1963 года Управлением Комитета государственной безопасности по Краснодарскому краю в разных городах Советского Союза были арестованы девять человек, дело по обвинению которых и рассматривалось в октябре 1963 года Военным трибуналом Северо-Кавказского военного округа.

Автору этих строк была предоставлена возможность [20] ознакомиться с материалами дела, присутствовать на допросах во время предварительного следствия, а затем пережить весь процесс.

В этой книге мы предполагаем провести читателя по путям следствия, суда и рассказать одну из самых мрачных историй человеческого падения. Дистанция в двадцать лет позволяет в целях «назидания и предостережения» более внимательно заглянуть в те бездны, через которые мы когда-то перешагивали, захваченные вихрем военных событий.

Готовя нападение на Советский Союз, гитлеровцы предусматривали полное порабощение советских людей и постепенное физическое истребление народов, населяющих нашу страну. Ни о каком привлечении русских людей на сторону Германии в этих условиях не могло быть и речи. Гитлер поначалу возражал своим экспертам, которые предлагали ему подыскать «русского Квислинга» и создать полицейские и воинские формирования из числа русских предателей. Однако огромные потери, которые несла гитлеровская Германия на Восточном фронте, вскоре обнаружили явную нехватку «рук» для того, чтобы осуществить гигантский план умерщвления миллионов людей, а также противостоять массовому подпольному и партизанскому движению на оккупированной территории Советского Союза.

Вот почему, начиная примерно с 1942 года, фашистские власти стали прибегать к услугам изменников, перебежчиков и прочих отбросов общества, вовлекая их в эсзсовские зондеркоманды или используя как охранников концлагерей, полицаев и пр. Этим же, очевидно, объясняется и то, что Гитлер, после долгих колебаний, решил создать так называемую «русскую [21] освободительную армию», возглавляемую предателем Власовым.

...Не вдаваясь в подробности, которые нуждаются в специальном исследовании, скажем, что в большинстве случаев факты предательства и перехода на сторону немецких фашистов имели под собой социальную и психологическую подоплеку. Люди, враждебно настроенные к советской власти, те, кто в глубине души продолжал надеяться на восстановление старого строя, с приходом немцев стали перед выбором: с кем быть? Немалая часть этих людей перед лицом смертельной опасности, нависшей над их

Родиной, перед лицом чудовищных зверств, совершаемых захватчиками на русской земле, отвергла самую мысль о какой-либо сделке с врагом. Но были и такие, кто сотрудничал с оккупантами и, облачившись в немецкую форму, убивал и мучил своих соотечественников, в подлой и, кстати сказать, напрасной надежде на то, что гитлеровцы учтут их кровавые «заслуги» и возвратят им утраченную некогда власть.

Вышли на поверхность злобные мещане, готовые использовать любую ситуацию, в том числе бедствия войны и приход оккупантов, чтобы нажиться на чужой крови и на чужом несчастье. Их отличала особая жадность и особая жестокость, и они уверенно шли по трупам, набивая окровавленным «барахлом» свои вещмешки. В этих людях жило неистребимое брезгливое презрение к тем, кто не «наверху», а, напротив, находится в нужде, в горе и в унижении. Не особенно задумываясь над тем, почему фашисты истребляют невинных мирных жителей, они злорадствовали при виде скорбных колонн, [22] угоняемых на смерть, потому что здесь, на их глазах, осуществлялось торжество грубой вооруженной силы над безоружностью и беззащитностью.

С такого рода преступниками нам приходилось встречаться во время следствия и суда в Краснодаре и наблюдать за всеми особенностями их поведения, когда они оказались вынужденными держать ответ за все, что они совершили.

Была и еще одна категория представших перед судом изменников, в основе преступления которых лежала попытка откупиться от тягот и трудностей и ценой многих других жизней сохранить единственную — свою. Связи этих людей с обществом оказались такими непрочными, а принципы и убеждения такими зыбкими, что не выдержали первого серьезного испытания. Речь идет о тех, кто в каторжных условиях фашистского плена или оккупации рассчитывал облегчить свою участь не борьбой с врагом, а переходом к нему на службу. Иногда предательство начиналось с простого житейского рассуждения, что надо бы как-то приспособиться к немцам, причем не все и не всегда поначалу представляли себе, в чем это «как-то» будет выражаться. Но часто, совершив первое — психологическое — предательство, они превращались в отпетых преступников, в убийц и рабов одновременно, попадая в полную зависимость к фашистам. Нет, не желанную «волю», а рабство обретали они, пытаясь получше пристроить свое маленькое «я», по сравнению с которым для них ничего не значили ни Родина, ни родной народ, ни миллионы человеческих жизней.

В этом повествовании нам придется столкнуться также с персонажами, которые в своем падении не [23] дошли до крайней черты и поэтому не привлекались *к* суду или, отбыв наказание, подверглись амнистии. И все же какой мрачной оказалась их жизнь, опустошенная, исковерканная одним только соприкосновением с фашизмом! Избавленные от ответственности по закону, они предстали перед судом человеческой памяти и совести и перед собственным страшным судом…

Готовясь к нашей работе, мы предприняли путешествие по тем местам, в которых происходили описываемые нами события. Это были города и села, прославленные мужеством подпольщиков, отвагой партизан, героизмом

народа, поднявшегося на борьбу против оккупантов. В Таганроге мы узнали историю антифашистского подполья, созданного комсомольцами: даже дети-школьники участвовали в неравной борьбе с врагом. В Краснодаре перед нами раскрылись страницы партизанского движения на Кубани. В Ростове, Новороссийске, Ставрополе, Краснодаре и в других городах мы встречали партийных работников, бывших партизанских вожаков и разведчиков, которые дали нам материал для очерка «По ту сторону легенды», включенного в наше повествование.

Что по сравнению с этими героями несколько отщепенцев, людей, потерявших человеческий облик, да и люди ли они?

«*Беда как раз в том, что они люди* »,- сказано о фашистах в пьесе Миллера, и мы, согласные с этими словами, намерены в своей книге отнестись к ее мрачным персонажам с той мерой требовательности, которая должна быть предъявлена к людям, отвечающим за свои дела и поступки… [24]

В Таганроге в серо-свинцовый зимний день я еду на Петрушину балку, в деревню Петрушино, куда в течение двадцати двух месяцев оккупации с Владимирской площади везли на грузовиках, гнали пешком заложников и подозрительных, коммунистов и комсомольцев, евреев и цыган, русских и украинцев.

На черноземных полях — клочья снега. В двух километрах от балки дорога становится непроезжей, машина останавливается, и, скользя по ледяным коркам, плюхаясь в черноземную грязь, я иду по той же дороге, по которой вели их. И я представляю себе, как они шли, догадываясь, *зачем* вдруг колонна свернула с мариупольской дороги в сторону деревни Петрушино.

Два бесконечных километра были путем смерти и путем надежды: кто-то пустил слух, что в Петрушине будет привал. А потом, когда они сошли с дороги и спустились в узкую, между двух черных холмов, ложбину и задние увидели, как те, кто шел впереди, остановились — это рыли могилу, — они поняли, что именно сейчас, именно здесь будет смерть.

Их стали «по-хорошему» уговаривать «без паники» раздеться и прыгать в яму, «соблюдать порядок», а один из карателей устало сказал: «Ну, проявите же, наконец, сознательность. Надо раздеться. Сойти в яму. Вот так». И одни механически выполняли приказ, а другие начали упираться, плакать, кричать, но это не помогло ни тем, ни другим.

Теперь я той же ложбиной приближаюсь к страшному месту: безлюдье, чернота земли, и вдруг впереди — обелиск. На нем начертаны слова вечной памяти. Но что такое вечная память? Несколько слов на обелиске, ежегодные митинги, книги писателей? Или [25] вечная память о погибших — это вечное, как сама жизнь, чувство ответственности за свою страну, за себя, за своих детей, за весь мир, чувство, которым должен проникнуться каждый человек, все люди?..

Я стал знакомиться с материалами, с документами — некоторые приведены здесь в качестве своеобразного эпиграфа. И по мере того как я приобщался к этим документам, к этому делу, мне все больше казалось, что я проваливаюсь в бездну, лечу в пропасть глубиной в двадцать лет — задеваю головой даты: 63… 45… 43… И вот я на самом дне: высоко надо мной, в непостижимом отдалении, светится небо *шестьдесят третьего года.*

Февраль 1963 — ноябрь 1965 г. [26]

Из обвинительного заключения по делу Скрипкина, Еськова, Сухова и др.

Управлением Комитета государственной безопасности при Совете Министров Союза ССР по Краснодарскому краю за активную карательную деятельность и личное участие в массовом уничтожении мирного населения арестованы бывшие эсэсовцы гитлеровского карательного органа «зондеркоманды СС 10-а»: ВЕЙХ Алоис Карлович, он же Александр Христианоеич, СКРИПКИН Валентин Михайлович, ЕСЬКОВ Михаил Трофимович, СУХОВ Андрей Устинович, СУРГУЛАДЗЕ Валериан Давыдович, ЖИРУХИН Николай Павлович, БУГЛАК Емельян Андреевич, ДЗАМПАЕВ Урузбек Татарканович и ПСАРЕВ Николай Степанович.

Зондеркоманда СС 10-а, будучи созданной гитлеровским командованием еще на территории Германии, в 1942 году была переброшена в Крым, где приняла активное участие в борьбе с крымскими патриотами, производя среди жителей Крыма массовые экзекуции. Через несколько дней команда перебазировалась в Мариуполь, затем на территорию Ростовской области, а позднее в город Ростов-на-Дону…

Совершая повальные обыски и аресты советских людей, [27] палачи команды применяли к своим жертвам неслыханные жестокости, изощряясь в методах пыток и истязаний ни в чем не повинных советских граждан…

Истребление мирного населения… производилось с помощью автомашины, именуемой «душегубкой», и путем массовых расстрелов… За время нахождения команды в Ростове карателями умерщвлено, расстреляно и заживо закопано несколько тысяч советских граждан, в числе которых были женщины, старики и дети.

С оккупацией гитлеровскими войсками города Краснодара зондеркоманда в начале августа 1942 года из Ростова переехала в Краснодар. С прибытием команды в Краснодар в городе начались аресты, обыски и массовое истребление населения…

В городе Краснодаре был создан ряд карательных групп зондеркоманды: в Новороссийске, Анапе, Ейске и других городах края.

В начале 1943 года зондеркоманда СС 10-а в связи с отступлением гитлеровских войск из Краснодарского края перебралась снова в Крым, а затем через несколько дней прибыла в Белоруссию и разместилась в городе Мозыре.

Прибыв в Белоруссию, обвиняемые совместно с другими эсэсовцами команды, которая к этому времени была переименована в «Кавказскую роту», приняли активное участие в борьбе с белорусскими партизанами и другими патриотами Белоруссии. Только в одной деревне Жуки Мозырского района карателями… было истреблено более 700 советских граждан.

В конце лета 1943 года «Кавказская рота» прибыла в Польшу, разместилась в городе Люблине и была придана Люблинскому СД. В Польше, так же как и на территории СССР, каратели принимали активное участие в борьбе с польскими патриотами и в расстрелах мирного населения.

Весь путь зондеркоманды СС 10-а, а позднее «Кавказской роты», обагрен человеческой кровью, омыт слезами женщин и детей, сопровождался криками истязаемых и плачем маленьких детей, просящих карателей не убивать их.

Расследованием установлено, что привлеченные по делу обвиняемые ПСАРЕВ, ДЗАМПАЕВ, ВЕЙХ, ЕСЬКОВ, БУГЛАК, СУХОВ, СКРИПКИН, ЖИРУХИН и СУРГУЛАДЗЕ принимали [28] непосредственное участие во многих массовых арестах, истязаниях, расстрелах и умерщвлении советских граждан в машине «душегубке», совершаемых зондеркомандой СС 10-а на территории Краснодарского края, Ростовской области, Белорусской ССР, а некоторые из обвиняемых участвовали в истреблении патриотов и в других злодеяниях на территории Польской Народной Республики.

Эсэсовцы, под руководством главаря зондеркоманды СС 10-а палача КРИСТМАНА, учиняли дикие расправы над советско-партийным активом, военнопленными Советской Армии и лицами еврейской национальности… [29]

Кристман

…Разыскивается по списку военных преступников как организатор массовых казней в городах Таганрог, Ростов, Краснодар, Ейск, Новороссийск, Мозырь, а также в связи с массовым истреблением военнопленных, —

КРИСТМАН КУРТ, доктор, род. 1. 6. 1907 г. в Мюнхене. Член НСДАП с 1. 5. 1933 г., партийный билет № 3203599. Личный № СС — 103057. Оберштурмбанфюрер СС (подполковник).
12. 3. 1931 г. — сдал 1-й юридический госэкзамен.
20. 4. 1934 г. — сдал 2-й юридический госэкзамен с отличием.

Прохождение службы :
21.4.34–14.11.37 г. - Главное управление имперской безопасности. Референт по вопросам прессы и марксизма.
15. 11. 37–16, 6. 38 г. — Главное управление имперской безопасности. Старший референт.
17. 6. 38–1. 12. 39 г. - Гестапо г. Мюнхена. Следователь.
1. 12. 39–1942 г. — Гестапо г. Зальцбурга. Начальник гестапо. Старший правительственный советник.
1942–1943 г. — Действующая армия. Начальник зондеркоманды СС 10-а.
1943–1944 г. — Гестапо г. Клагенфурта. Начальник гестапо.
1944–1945 г. — Гестапо г. Кобленца. Начальник гестапо. [30]

В 1963 году я был в Западной Германии дважды — летом и осенью; конечно, не Кристмана ехал искать и не за военными преступниками отправился в путешествие. Я собирал там стихи — в Гамбурге, в Штутгарте, в Мюнхене. Привез в Москву целый букет — рифмованные, ухоженные и без ритма, без рифм, где строки торчат как репьи, как сухие стебли. Пишут сейчас преимущественно о серьезных вещах, вроде жизни и смерти, и о том, как все надоело — и политика, и война, и мир, и нужда, и благополучие.

Никто из этих поэтов не знает, чего он хочет, — «ах, сытые, сытые свиньи, игроки в гольф», — но и «политруки» им тоже не нравятся, и есть у них одна только утеха — вот так возлежать длинными ногами в потолок и ухмыляться в ожидании *чего-то.* А что значит это «что-то», они сами не знают: атомная война, или всемирный потоп, или революция, или, может быть, контрреволюция. Все им противно, они то и дело издеваются, прямо-таки ненавистью исходят к своим уютным, обставленным квартирам, и к своим автомобилям, и к «частной собственности», но спросите, хотят ли они социализма, они скорчат такую гримасу, что вам уже не захочется их ни о чем спрашивать.

А впрочем, какое мне до них дело в этой книге, где я нахожусь на глубине в двадцать лет, где женщина из Таганрога прячется с тремя своими детьми в кукурузном поле, а в полицейском участке стоят в очереди на регистрацию жители Новороссийска, и во дворе зондеркоманды в Краснодаре идет разгрузка тюремного автобуса с арестованными. И резко пахнет кровью, потом и дезинфекцией…

Мои молодые поэты знают обо всем этом [31] понаслышке или из книг, и они не хотят войны потому, что это — неуютно, и надо рано вставать, и как это так- кто-то будет ими командовать, и зачем все это нужно? Все это устарело. Теперь даже если война, военная служба, то пусть при помощи кнопок, чтобы, лежа на диване, вот так нажимать на белый пластмассовый клавиш — и все решится само по себе…

Но я должен собрать их стихи, и я слушаю, как они бубнят мне свои стихотворные откровения (стихи теперь принято читать без пафоса — бормотать), и я делаю вид, что понимаю внутренний, скрытый за словами смысл, хотя не понимаю ровным счетом ничего: слышу отдельные слова, а взятые вместе они для меня ничего не значат… И я досадую на свою отсталость, на беспомощную приверженность логике, «здравому смыслу», а может быть, дело не в отсталости, а в том, что я слишком переполнен Краснодаром, Ейском, фантастической близостью к Кристману, который живет где-то здесь, рядом с этими стихами, в то время как Скрипкина конвойный старшина-сверхсрочник ежедневно доставляет из тюрьмы в кабинет к следователю…

И я, пронзенный странной взаимосвязью явлений, сейчас вот, приготовившись было рассказывать о Кристмане, откладываю в сторону свои записи и совершенно отчетливо представляю себе, как я ехал по Западной Германии в поезде.

…Бесшумно ходят стеклянные двери, и в застекленных купе сидят в сладковатом табачном дыму исполненные чувства собственного достоинства пассажиры, и уютно качаются в сетках чемоданы, и поездной кельнер

церемонно разливает в чашечки кофе, и на диванах — скомканные газеты, скомканная [32] Кристин Киллер, скомканный Кеннеди, который тогда еще не был убит.

Я смотрю в окно: стеклянные корпуса заводов, дымные серокаменные улицы, мутный свет фонаря в тумане и ранние огни в окнах домов. Города следуют за городами, один город перерастает в другой, красные вывески баров, пивных, погашенные на ночь буквы. Перроны с привокзальными буфетами, стеклянные, облепленные обложками иллюстрированных журналов киоски, пассажиры в плащах, с поднятыми воротниками, дамы с собачками, проводник с красной, похожей на орденскую ленту, портупеей через плечо…

И все это так, словно ничего не было, и не обливалась кровью Европа, и детей не кидали во рвы…

И вдруг меня охватывает непонятное чувство жалости к этим людям, к *Европе* , оттого, что есть ощущение непрочности, что так легко все это разрушить, разбить стекло, фонарь, окна, перевернуть все это утро вверх дном и длинноногих чудаков, обритых, плачущих, загнать за колючую проволоку — ведь так уже бывало однажды…

И вновь я думаю о Краснодаре, о Кристмане и о том, почему, собственно, на каком основании в угловом розовом доме, в чужой стране, в чужом кабинете должен был восседать за длинным столом маленький тонкогубый человек с большими мясистыми ушами, и какой смысл, какое значение и какая польза в том, что он умел *пронзать* , просверливать собеседника взглядом — качество, которое в нем особенно ценило начальство и женщины. У него был действительно леденящий сердце взгляд, вернее — четыре разновидности *взгляда* , один из которых [33] предназначался для подчиненных и для женщин, другой — для допрашиваемых, третий — для товарищей и четвертый — для вышестоящих.

И все это казалось важным, существенным, тщательно отработанным: взгляды, холодная непроницаемость лица и тонкие, в злой беспредметной иронии губы, и фуражка с высокой тульей и кокардой-черепом.

Сейчас такой «персонаж» в такой форме — ерунда, кукла, бутафория, фигура из кинофильма или театральной постановки, между тем было время — перед ним трепетали и каблуками «выклацывали», и личный повар Бруно пек ему торты, и на допросах в огромном его кабинете харкали кровью арестованные, а на третьем этаже, в верхней комнате, сидела, ждала вечера наложница Томка, и два пса у него было громадных, две овчарки…

С этой вот Томкой, наложницей Кристмана, я встретился в зимней ледяной Москве. Был очень морозный, так что пар отовсюду валил, день, — я ждал Томку в метро; она приехала из далекого города по делам, мы с ней предварительно списались, и она обещала мне рассказать про Кристмана все, что помнит, хотя прошло уже двадцать лет, «но, — как она писала, — такой ужас и через сто лет забыть невозможно». Я знал, что Томка была очень хороша собой — худенькая, черноволосая девчонка — и что попалась она ему в Краснодаре среди арестованных гестапо советских граждан. В 43-м году нашими войсками был взят в плен один из сослуживцев Кристмана, и в его показаниях было тогда отмечено, что Кристман «держит около себя девушку,

брюнетку, лет 18–20, которая живет на отдельной квартире, [34] снабжается питанием и никакой, помимо обслуживания Кристмана, работы не выполняет…»

Я стоял в метро и всматривался в лица поднимавшихся по эскалатору девушек, пока не услышал над собой голос: «Вы, наверно, *меня* ждете?..» Передо мной стояла высокая, сутулая и немолодая женщкна в черном пальто, повязанная платком, в больших зимних, похожих на мужские, ботинках, и во всем ее облике было что-то мужское, солдатское: большие, длинные руки, и грубые, красные пальцы, и широкий, почти солдатский шаг. Мы пришли ко мне, и та, которую я внутренне звал «Томкой», достала из сумки пачку папирос (это были тоненькие папироски, «гвоздики», и войной повеяло от их резкого, приторного дымка), затянулась и вот так, внутренне собравшись, уселась поплотней на стуле, словно приготовилась давать показания… Я знал, что Томка за свою службу у Кристмана (ведь она с зондеркомандой прошла до самой Италии) отбыла в свое время «срок», потом была амнистирована, и конечно же никаких дополнительных расследований ей опасаться не приходилось. Все же Томка была начеку, ждала, может быть, подвоха с моей стороны. Я ее успокоил как мог.

Она снова полезла в сумку, стала вынимать оттуда какие-то сложенные вчетверо, протершиеся на сгибах бумажки, справочки, копии, и я подумал о том, как однажды пошла наперекос ее жизнь и что возмездие для нее наступило не столько в виде отбытого «срока», сколько в виде этих бумажек.

Человек, имеющий такие бумажки, дорожит ими, хранит в самом надежном месте. То и дело их надо кому-то показывать, предъявлять: видите — здесь мне ответили так, а здесь так, и все законно. Идет время, [35] человек стареет, жизнь меняется, а бумажки все еще нужны, это его щит и его оружие, а оружие не должно лежать без применения.

Вот в чем, между прочим, состояла расплата за те годы, которые Томка провела вместе с Кристманом, хоть и не по своей воле, а все же *провела* , и за то, что пока там, в подвале, расстреливали ее сверстников и сверстниц, она в своей комнате на третьем этаже сидела, ждала возвращения Кристмана из подвала, и хохотала с немцами, и ходила на кухню к повару Бруно, спрашивала, что нынче будет на обед, и рыжий, здоровенный Фриц Голендер, шофер душегубки, был ее задушевным приятелем. В этой душегубке, во время отступления команды, на марше, ей приходилось не раз ночевать — «навалим, бывало, матрацев и спим».

И вот Томка разложила передо мной пасьянсом свои справочки и начала рассказывать. Ее история началась с той минуты, когда ее, арестованную в облаве, доставили в кабинет к Кристману и она увидела человека очень маленького роста, худощавого, с острым лицом и гладко зачесанными назад волосами, «…Я сразу поняла, что это из начальства. Большой кабинет, ковер. Стол, покрытый зеленым сукном. И он — маленький, из-за стола его почти не видно. Здесь же, при нем, был Раабе, офицер, и его личный переводчик Литтих Сашка. Чувствовалось, что он — начальник, потому что перед ним выклацывали по стойке «смирно», как псы… Он посмотрел на меня и что-то сказал переводчику, я не поняла, и меня отправили в подвал, в одиночную камеру, совершенно без света, цементный пол, и ни досок, ни стула, к тому же

вода на полу. Кушать давали — раз в сутки [36] пол-литровая банка соевой муки, разболтанной на сырой воде. И всё… Я просидела дней десять, и вот опять меня вызывает Кристман. Посмотрел сальными глазами и говорит: «Видите, таких, как вы, мы расстреливаем, но мы благородные люди, можем с вами поступить иначе, если вы согласитесь работать с нами…» Я думаю: была не была, черт с вами, там поглядим, как я буду работать, — и тут же согласилась, дала подписку, и меня снова отправили в подвал, только уже в общую камеру… После этого подвала у меня вспыхнул ревматизм, я ног не чувствовала, криком кричала. Вообще на нас смотрели как на смертников. Сидела со мной одна казачка, она мне посоветовала полечить ноги мочевыми компрессами, и мне стало легче…»

Томка все это рассказывает уверенно: видно, много раз ей приходилось излагать свою эпопею, и в этой эпопее место наименее уязвимое и наиболее благополучное — начало.

«…Однажды приходит за мной в камеру Литтих. «Поедемте, говорит, в больницу». И меня под проливным дождем на линейке отвез в местную больницу, цивильную, на окраине Краснодара — на проверку и на излечение для дальнейшей моей работы, а в чем будет моя работа заключаться, я, конечно, не знала, хотя и догадывалась, а сама себе думала: может, я как-нибудь вырвусь, как-нибудь, как говорится, замнусь.

И вот через две недели я из больницы была выписана и доставлена обратно к Кристману, в помещение зондеркоманды. Дал он мне задание поселиться в комнатке, на верхнем этаже (со двора я не могла выходить никуда) и прикомандировал к себе: убирать [37] его комнаты, печи топить… И тут-то началось ухаживание — век бы его не видеть…»

Томка надолго замолкает, курит, смотрит в пространство, туда, в сорок третий год… А я вижу ее совсем молоденькой, с черными распущенными волосами, сидящую в той *комнатке*, в зондеркомандовской светелке на верхнем этаже, смотрящую в окно. «…Из окна я видела машину-душегубку. Она всегда стояла против подвала, огромных размеров, как шеститонка-холодильник, только окрашенная в грязно-зеленый цвет, совершенно закрытая, сзади дверца. Каждый день туда заправляли партии людей, но я поначалу думала, что это отправляют их в другую тюрьму или на подсобное хозяйство…

По утрам я видела в окно построение. Дежурный офицер выстроит команду, и является он, коротыш. Что-то порявкает строго, поклацают они каблуками — ни улыбки, ничего. И он такой серьезный.

Вечерами вижу — горит Краснодар, уже наши, стало быть, приближаются…

Каждый вечер он приходил ко мне, я женщина, мне об этом рассказывать неловко, но слушайте. Придет он ко мне, прижмется, притулится, а когда дело доходит до основного — раздевайся догола (это у них принято), обцелует, обмилует, а потом ни то ни се… Он, конечно, свое удовольствие делал, но по-скотски, не так, как люди…

Женщина остается женщиной, и мне порой становилось обидно: никогда у него не было никакого угощения, чтоб выпить или сладости. Видимо, из жадности, я не знаю… Не было, чтоб он спросил хоть на ломаном языке или на

мигах: «Как у тебя, Тома, что?..» Я была его наложницей, и он никогда не [38]интересовался моим настроением, отношением, — раз сказал, значит, надо идти…

Но там в Краснодаре, в этой команде, мне попались добрые люди, на кухне при столовой, которая называлась «казино»: тетя Клара, повариха, и Бруно — повар. Бруно частенько что-нибудь да и уделит мне вкусненького: он был хороший человек и не разделял ихних действий. Бывало, увидит Кристмана, махнет рукой, скривится: «А, Тома, шайзе», — дерьмо, значит.

Кристман этого Бруно из-за тортов держал, очень он любил торт, а Бруно был до войны знатный кондитер. Но вообще Кристман ел не много, мне приходилось накрывать ему на стол. Супник ставишь, тарелки, — больше рисовые супы, борщей он не ел, потом что-нибудь мясное — или биточки, или зразы…

Иногда они устраивали балы, это называлось у них «камерадшафтсабенд». На таких балах одни только германские немцы присутствовали, даже переводчиков не допускали и женщин. Я потом, утром, убирала за ними — что там творилось!.. Столы перевернуты, все смешано, рюмки, посуда побита, на полу видно, как рвали, и до туалетов не доходили, и за маленьким там делали…

Помню рождество в Краснодаре — Кристману прислали из Германии елочку, веточку небольшую. Единственный раз он угостил меня тогда бонбонами в трубочках…»

Томка пришла в себя, уже не боится «подвоха», через двадцать лет изливает мне свою обиду на Кристмана, сводит счеты. Сейчас она курит нервно и зло, сухо нашептывает:

«…А сам имел жену в Германии, дочь-школьницу! Я узнала от Бруно, из разговоров, такой факт, что [39] Кристман поехал в деревню на операцию, взял двух девочек, поиздевался над ними и расстрелял. Вообще расстреливали они почем зря, даже своих не жалели. Помню, был расстрелян один ихний солдат: то ли он пытался бежать, то ли что-то сказал, точно не помню, А еще один раз я сама видела, как расстреляли перед строем офицера-немца, доставленного в команду откуда-то с фронта: его казнили за то, что он пожалел людей, которых они убивают, и раскис. Но это было уже поздней, в Белоруссии…

Мне сейчас факты конкретных зверств над мирным населением перечислить трудно, потому что на операции я с ними не ездила, а вот возвращение их с операций, особенно из деревень, мне из окна приходилось наблюдать неоднократно. Въезжают во двор машины, все они высыпают, грязные, усталые. Тот тянет гуску, тот — курку, тот — какой-то мешок. Оружие на них на всех. Пух они обдирали с живого гуся, укладывали в конверт и посылали в Германию. Я никогда раньше не слыхала, чтоб с живого гуся пух обдирали, и возмущалась: как можно?

Отправляли в Германию сало, суровое полотно выбеленное, трикотаж — целые свертки… Что вам о них еще рассказать?

Книг у немцев вообще я не видела, чтоб они интересовались литературой, читали. Газеты были немецкие, какие — холера их знает.

Внешностью они мало чем выделялись, у многих были на пальцах понаделанные из монет кольца *с* изображением черепа. У меня впечатление

было, что они не такие люди, как все, они изверги — и всё. Почему? А потому, что необычно они относились к людям. Кличка «руссише швайне» сплошь да рядом, [40]ненависть была, особенно к еврейскому населению, а уж на нас, женщин, смотрели… Попробуй им не угодить.

Вот так я прожила при нем в Краснодаре до самого отступления, до февраля 43-го года, пока однажды не пришел ко мне вечером в комнату Литтих Сашка. Я думала, что вызывает к шефу (случалось, что он не сам за мной приходил, а звал через Сашку). Но оказалось, что нам приказ сворачиваться, отступать на Камышанскую. Под утро мы уже выехали. Чувствовалось, что все они, офицеры, страшно наэлектризованы, такое было впечатление, что они понимают, что очень нашкодили и единственный у них выход — удирать. Сашка — тот совсем приуныл: «Ну, Томка, достанется нам здесь. Кристман и высшие офицеры улетят на самолете, а нас всех, как рыбочек, схватят». Но не схватили. Под утро *я* выехала с кухней, вместе с Бруно, тетей Кларой и еще одной официанткой. Кристмана я в тот вечер не видела, только уже в Камышанской мы с ним встретились вновь…»

Она и не могла видеть в тот вечер Кристмана, я это знал из документов. Точно установлено, чем он занимался ночью перед отступлением зондеркоманды из Краснодара.

В ту ночь Кристман обходил здание зондеркоманды, спустился в подвал, в тюремные камеры. Эсэсовцы разносили канистры с бензином. Через двадцать минут вспыхнул огонь, заключенные бились головой о железные решетки.

В материалах Нюрнбергского процесса по этому поводу сказано: «…Быстро распространившееся пламя и взрывы предварительно заложенных мин [41]сделали невозможным спасение заживо горящих заключенных. Из пламени удалось выскочить только одному, фамилия которого осталась невыясненной, так как он вскоре скончался в результате перенесенных пыток и полученных при пожаре ожогов…»

Об этом «одном», которому удалось «выскочить», я узнал теперь кое-какие подробности: он был красноармеец, узбек; во время пожара пытался выбраться из подвала через окно, немецкий часовой ударил его прикладом винтовки, выбил зубы. Но после того, как гестаповцы покинули помещение, красноармеец, окровавленный и обгоревший, выполз на улицу, где его подобрала жительница Краснодара Рожкова и затащила в свой дом. Через несколько часов он умер…

Существует и другой вариант, рассказанный Марией Ивановной Глуховой.

Мария Ивановна на следующее утро после пожара шла по улице Орджоникидзе, к жене своего брата Елене Выскребцовой, и, проходя мимо здания зондеркоманды, обратила внимание на то, что все окна подвала заложены камнями, а одно, угловое окно почему-то сломано: ни стекол, ни решеток, осталась только ниша, да и она повреждена.

«Вскоре я заметила,- сообщает Мария Ивановна,- как в этом окне что-то копошится, затем показались руки человека и исчезли. Я поняла, что кто-то пытается выбраться из подвала, но не может, и я поэтому решила ему помочь.

Подойдя к поврежденному окну, я увидела незнакомого мужчину: он хватался руками за подоконник и стремился вылезти в окно, однако у него не было сил сделать это. Руки у него были сильно обожжены, поэтому тянуть его за руки я не могла. Сняв с головы [42] платок, я продела его мужчине под мышки и начала его тащить. С моей помощью он наконец выбрался. Был он не русский, но какой национальности, сказать не могу, среднего роста, лет 30–35, одет в краснофлотскую шинель, на ногах был только один ботинок, на руке висел котелок. Лицо у него сильно почернело, язык был прокушен.

Из подвала пахло чем-то горелым, доносился смрад.

В это время ко мне подбежал незнакомый мальчик, и мы вдвоем отвели мужчину в полуразрушенное здание школы, находившееся поблизости. В школе мы нашли неповрежденную комнату, где и положили мужчину.

Мальчик принес в котелке воды, и мы напоили раненого.

Я стала расспрашивать, что же с ним произошло, однако он говорить не мог, знаками объяснял, что его чем-то облили и подожгли. Потом он умолк…

Полагая, что в подвале могли остаться и другие люди, я вернулась к зданию гестапо и стала разбирать камни, которыми были заложены окна подвала. Они не были зацементированы, а просто сложены один на другой и легко вынимались.

За камнями в окнах оказались железные решетки, а стекла были выбиты.

Вскоре ко мне присоединилось несколько мужчин и женщин, которые, воспользовавшись отступлением немцев, прибежали к зданию зондеркоманды, надеясь спасти арестованных. Мы пробрались в подвал. Фонаря ни у кого не оказалось, поэтому мы освещали себе путь спичками и факелами из бумаги. Двери в коридор уже до нас были кем-то открыты, Когда мы [43] зашли в коридор, то увидели там много обгоревших мужских трупов, но сколько их было, я сказать затрудняюсь, так как мы их не считали, да и освещение было очень слабое. В конце коридора у стены мы увидели обгоревший труп женщины, которая прижимала к груди труп ребенка, трех-четырех лет.

В глубине подвала, в левой стороне, часть стены была обрушена, оттуда шел сильный запах горелого мяса…»

* * *

Томка в это время была уже на западной окраине города, собрала свое барахлишко, сидела в обтянутом брезентом кухонном грузовике.

«…Запомнила я об этом отступлении только как ехали мы через Краснодар, видим — висят повешенные…»

И никакой попытки бежать, воспользоваться суматохой!

«…Да уж куда мне было бежать, если я как бы связала свою судьбу с ними».

От Кристмана действительно уйти было нелегко. Он цепко держал в своих руках не одну только Томку, вся команда, вплоть до старших офицеров, его боялась, такой он обладал силой. Может быть, тут играла свою роль должность Кристмана, огромные, неограниченные права, которые он имел

над жизнью и смертью людей, права, которые его самого убеждали в том, что он является «сверхчеловеком».

Говорят: не место красит человека, а человек — место, но это не всегда так. Часто самое «место» возносит человека, определяет его значение в глазах других, и вся его «железная воля» объясняется тем, [44] что ему, по своему служебному положению, не так уж трудно быть «железным». Попробуй воспротивиться этой *воле* — в действие будет приведен весь в его руках находящийся *аппарат* , и того, кто задумал противиться, сотрут в одну минуту.

Все же Кристман был, если судить по рассказам очевидцев и документам, натурой активной, а не кабинетным бюрократом. Его всегда влекло к активным действиям, к операциям, и в этой связи мне вспоминается разговор с одним человеком, хорошо знавшим дело Кристмана. Он предупреждал меня, чтобы я не особенно увлекался описанием кристмановского садизма, так как это и без меня всем известно, а обратил главное внимание на его оперативные качества, поскольку Кристман был очень опытный и ловкий контрразведчик. Именно этим, а не только садистскими наклонностями, он объяснял личное участие Кристмана почти во всех расстрелах и повешениях: казнь ему была дорога как завершение разработанной и осуществленной по его разработке операции, и, как истинный творец *операции* , он наслаждался конечным ее результатом.

Я с этим вполне согласен, но сейчас мне до оперативных талантов Кристмана нет никакого депа. Да и что означал этот оперативный зуд? Был азарт сыщика, ловца, когда Кристман пытался вскрыть подпольные группы, подпольные обкомы, райкомы, нащупать партизанских связных. Было удовлетворение, когда во время облавы на партизан заляжешь на склоне высоты, махнешь в кожаной перчатке рукой — и поползут по твоему взмаху солдаты, а потом возвращаешься, в грязи и в пыли, и прекрасную ощущаешь усталость. И была, как бы в награду за труды, [45] радость допроса, когда перед тобой человек — у него руки, у него ноги, и у него борода, и губы, и вот всю эту гармонию его лица ты можешь нарушить, испортить в один миг, смазав ее кулаком или плетью. И потечет кровь, и этот благопристойный и приличный нос превратится в сливу, заплывет глаз, а тебе ничего ровным счетом за это не будет, тебе даже спасибо скажут и повысят в чине.

Была и другая радость, сладкая, тайная: там, за дымными просторами России, — сокровенная, интимная Германия, милый, мирный, святой в своей чистоте дом, где в длинных ночных рубахах дети и жена, которая ждет. И Кристман пакует чемоданы, он любовно укладывает туда куклу, медвежонка, и часы, и радиоприемник, и трикотаж, и меховые вещи. Томка однажды подсмотрела, как он собирал такую посылку, но вот выписка из показаний военнопленного эсэсовца: «В феврале 43-го года, при эвакуации зондеркоманды, Кристман заезжал в Симферополь, там оставил ценности — три сундука советских денег, а награбленное золото переправил в Германию…»

Но была еще, слава богу, и *идея* — потому что ничего бы не стоила вся эта война, и убийства, и рвы, было бы просто кровавое безумие, безобразие, если бы не *идея* , ради которой все это делается. С *идеей* жить было легко,

удобно (всегда находилось внутреннее оправдание — «я одержим идеей», «я фанатик») и выгодно: за верность *идее* платили, причастность к ней сама по себе была источником дохода, она давала деньги и власть. И Кристман благодарил фюрера за то, что *идея* была такой выгодной, ясной, гениально простой: нужно очистить человечество от скверны («скверной» считалось все [46] человечество, кроме немцев), через кровь и трупы проложить дорогу «новому порядку» (вся предыдущая история была, по существу, беспорядком) — и тогда на этой крови расцветут розы, и музыка будет играть, и все будут разговаривать по-немецки.

Вот как он жил, не жалея сил работал. Работы у Кристмана хватало, редко когда удавалось уложиться в составленный им самим распорядок дня: 7.40 — построение, информация о последних событиях (для офицеров), 8.00–12.00 — занятия, 12.00–13.00 — обед, 13.00–17.00 — занятия, с 17.00 — отдых.

Четыре оперативные группы занимались каждая своим делом. Лейтенант Кирмер, в прошлом полицейский сыщик, возглавлял группу (12 офицеров) по выявлению советского актива. Лейтенант Сарго отвечал за борьбу с партизанами, его группе доставалось больше всех. Но боевого опыта у Сарго было не много, до войны он был крупным виноделом и теперь еще тяготел к коммерции, присматривался к виноградникам под Краснодаром: неплохо бы прибрать их к рукам, построить здесь винный заводик…

Группу спецпроверки русского населения возглавлял лейтенант Пашен, старый разведчик, который в довоенные годы был резидентом чуть ли не во всех западноевропейских странах. Он хорошо изучил французов, англичан, итальянцев: каждая нация требовала своего подхода, своего «ключа»; впрочем, Пашен был убежден, что к каждому человеку при желании можно подобрать «ключ», надо только знать, какую человеческую эмоцию следует при случае использовать, потому что «сыграть» можно на всем — на убеждениях и предубеждениях, на достоинствах и недостатках, на любви и ненависти, на страхе и на [47] отчаянной смелости, на самолюбии и на самоуничижении, на элементарном желании выжить и на отвращении к жизни.

Однако Пашен, так же как и Кристман, все больше убеждался, что в России эта теория мало применима, вербовка агентов и провокаторов здесь проходит с трудом, может быть оттого, что русские, ввиду своей интеллектуальной отсталости, не поддаются обычной обработке и продолжают держаться за большевистские догмы. К тому же картотечный учет и спецпроверка показывали, что коммунистические элементы не просто вкраплены в население, а составляют как бы его основу, в то время как лица, проявлявшие активную враждебность большевистскому режиму, являются исключением. Все это, по существу, опровергало выводы берлинских экспертов и руководящие инструкции сверху.

Сознание того, что в Берлине ошиблись с выводами, не давало Кристману покоя. Он не мог допустить, чтобы начальство ошибалось, и считал своим служебным и патриотическим долгом создать такую обстановку, которая соответствовала бы выводам «верхов», — иначе говоря, рассуждал так, что должны быть исправлены не выводы, основанные на неверных

фактах, а изменены сами факты, чтобы выводы оказались в конечном счете правильными.

Поэтому особые надежды он возлагал на четвертую группу зондеркоманды, которая носила тяжеловесное и малопонятное название: «Группа по оформлению управления на оккупированной территории». Возглавлял эту группу лейтенант Юргенсен — Юрьев, высокий седой старик, вступивший в германскую армию еще во времена гражданской войны, в оккупированном [48] немцами Киеве. Именно эта группа, совместно с приданной ей ротой вспомогательной полиции, должна была физически ликвидировать все не угодные «новому порядку» человеческие контингенты и довести население до того минимума, при котором оно состояло бы только из благонамеренных лиц… Тем большее удовлетворение Кристман испытывал, когда удавалось завербовать провокатора, — вот он сидит перед тобой и сейчас распишется в расписочке, такая давалась бумажка.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
от …. 194… г.
Я, ……. проживающий ……. даю добровольное обязательство активно помогать германским властям в деле установления нового порядка и сообщать обо всех, известных мне лицах, опасных для нового строя. Мне известно, что за разглашение данного обязательства я буду привлечен к строгой ответственности.
Подпись ……. . .
Присвоенный псевдоним …….

А завтра этот человек, еще сгибаясь под тяжестью нового, непривычного ему бремени (бумажка эта тонны весит), войдет в дом к знакомым, к друзьям и будет выслушивать всякие вещи, и будет кивать головой в знак согласия, и даже вставит в разговор иное словцо, а потом придет в кабинет к длинному большому столу и отрапортует, и глаза-сверла пощекочут его поощрительно…

Среди ближайших сотрудников Кристмана следует упомянуть еще доктора Герца и заместителя Кристмана — Раабе, который непосредственно руководил расстрелами и повешениями. Раабе по-своему [49] примечателен тем, что был когда-то уголовником, мошенником или вором, сидел долгие годы в тюрьме и вышел на свободу, как только нацисты захватили в Германии власть. Он отличался прямо-таки фанатической верностью Гитлеру и какой-то сверхъестественной, до абсурда, исполнительностью. Трудно было даже представить себе, что этот педантичный службист — в прошлом уголовник. Скорее всего, Раабе испытывал искреннюю благодарность Гитлеру и его режиму. Он не раз говорил: «Фюрер меня человеком сделал. Кто я был раньше? Асоциальный элемент, вор. А сейчас я — офицер».

Доктор Герц, врач команды, ведал душегубкой и, кроме того, оказывал медицинскую помощь офицерскому составу и переводчикам. В его обязанности входила также ликвидация русских лечебных учреждений и умерщвление содержащихся там больных. Он был, пожалуй, самым образованным из всех офицеров команды, выписывал из Германии книги и получил патент на изобретение черного порошка или черной жидкости, которой он смазывал губы арестованным детям. Смерть наступала мгновенно в четырех случаях из десяти — препарат требовал усовершенствования…

Вот что представляла собой в тот «краснодарский период» зондеркоманда СС 10-а, в которой рядовыми карателями служили Скрипкин, Еськов, Псарев, Сухов и другие изменники. Для Кристмана все они были на одно лицо: замызганные, суетливые и от своей запуганности и угодливости казавшиеся особенно свирепыми на операциях. Во время расстрелов Кристман и офицеры расстреливали со вкусом, с выдержкой, целились, стараясь изящно и метко сразить [50]жертву, смаковали расстрел, а эти суетились, стреляли как попало, спихивали недострелянных в ров и торопливо засыпали яму землей, лишь бы «угодить» и поскорее закончить.

Эти люди были самыми презираемыми во всей команде, даже Юрьев и Герц ставили их ниже кристмановских овчарок, даже Томка и та относилась к ним с презрением: шакалы…

А между тем у каждого из них была своя судьба, своя тоска и своя надежда, и они, как самые подневольные, как стоящие на самой низшей ступеньке фашистской служебной лестницы, имели свою обиду на Кристмана.

Но о них мы еще поговорим в дальнейшем. Пока возвращусь к Кристману, чья благополучная жизнь в Краснодаре была так неожиданно и грубо нарушена зимним наступлением советских войск.

Это наступление воспринималось офицерами зондеркоманды как своего рода наглость со стороны русских, как непростительная дерзость, которая требует примерного наказания. Иначе они и не могли рассуждать, так как привыкли считать, что все их действия не являются какой-то кровавой прихотью или произволом, но абсолютно соответствуют «высшей справедливости», предначертаниям судьбы, перед которыми люди бессильны и которые недоступны пониманию обыкновенного человека.

Конечно же, рассуждал Кристман, нелегко сразу утвердить на огромных территориальных пространствах совершенно *новый* порядок, практически осуществить замену отживших и не оправдавших себя форм жизни новыми, высшего плана, установлениями, очистить мир от тормозящих это развитие людских [51] категорий. Но тем большая слава ждет тех, на кого возложена обязанность быть проводниками этих установлений, на пионеров грядущего мироустройства, которое рождается в кровавой борьбе и рассчитано на долгие тысячелетия.

Этот Кристман, и заурядный полицейский сыщик Кирмер, и уголовник Раабе, и доктор Герц со своим черным порошком — все они были глубоко убеждены, что им действительно открыты какие-то высшие конечные истины, до которых не дошли целые поколения философов, писателей, государственных деятелей и которым «в силу отсталости» отчаянно сопротивляется почти все человечество.

Но они были уверены в своей абсолютной правоте и в «разумности» своих действий еще и потому, что события развивались исключительно благоприятно, успех следовал за успехом, и какие могли быть сомнения в правоте, если почти вся Европа стала немецкой и Кристман находился на официальной должности не где-нибудь, а в Краснодаре, на Кубани, которая тоже отныне принадлежала Германии! Видимо, само провидение, «мировой разум» хотели, чтобы было так.

И Кристмана раздражала непонятливость русских, их попытки сопротивляться тому, что *правильно* , тому, что должно быть, «высшей воле», их стремление перехитрить «мировой разум» при помощи танковых атак или партизанских операций.

Но по мере того, как стало выясняться, что с окончательной победой Германии дело затягивается, Кристман все меньше думал о провидении, о неизбежности «нового порядка» и других высоких материях. Сам тому удивляясь, он замечал, что из «сверхчеловека» он постепенно превращается в обыкновенного [52] Курта Кристмана, которому хочется только одного: жить, вернее — выжить, унести ноги подобру-поздорову. Конечно, со стороны никто не мог заметить происходившей в нем перемены. Все так же осуществлялись карательные акции, бесперебойно работала душегубка, прочесывались партизанские деревни, Кристман даже с еще большей яростью пытал и расстреливал: мстил за крушение *идеи* , за неудачи. Его томило желание напоследок, перед неминуемым уходом из России, напортить, нагадить как можно больше, «наломать дров», чтобы долго о нем здесь помнили.

Но *служение* для Кристмана кончилось. Теперь это была просто *служба* …

Вместе с германскими частями зондеркоманда отступала на запад. Навстречу чему?..

И Томка рассказывает мне:

«После Краснодара мы жили недели три в Камышанской, настроение у всех было подавленное, чувствовалось, что разладилось дело, и сидели они как щур в горах: посты повыставляли, боялись, особенно по ночам, что их захватят. Камышанская находилась над самыми плавнями, и я из разговоров слышала, что там, в плавнях, есть партизаны.

С нами вместе была девушка Лида, ее, так же как и меня, взяли под Краснодаром, определили в санчасть, но это — формально, а фактически кто-то из офицеров, сейчас уже не скажу кто, держал ее при себе. Однажды утром, часов в девять, я пошла по воду к лиману, вижу — она лежит в лимане убитая, лицом вниз. Я прибегаю в команду, вся дрожу: стало быть, убили ее партизаны за то, что она с немцами, и думаю, как бы мне не было то, что ей. Тут Сашка [53]пришел. «Да ну, говорит, не убьют тебя, не бойся. А вообще положение такое, что не знаем, как выберемся отсюда». Но вскоре разнесся слух, что Лиду сами немцы убили, так как она была подосланная, была советская разведчица.

Одним словом, все у них не клеилось, жили только одним: скорее бы отступить. Хорошо помню солнечный февральский день, когда принесли радостную весть и кто-то из офицеров выскочил от Кристмана и закричал: «Едем, едем, едем!..»

И через несколько дней все погрузились и выехали в полном составе по направлению на Темрюк. За Темрюком ночь переночевали и встали в очередь на переправу. Там есть коса — «чушка» называют эту косу, — мы на этой косе суток трое, наверное, стояли по дорогам. Офицеры ходили, охотились в озерах на диких уток, убивали время. Когда подсунулись к переправе, там войск полно, и команду нашу ни за что не хотят пропускать: нашелся какой-то

немецкий полковник армейский, как увидел, что СС, так сразу нас и задвинул в хвост, — видно, что не любил СС. Кристман, помню, рассвирепел, ругался, говорил, что среди немцев полно предателей и что он до этого полковника доберется. Еле-еле уладил, и нас пропустили пораньше. Переправлялись под усиленной бомбежкой советской авиации. Всю дорогу настроение было ужасное.

Переночевали в Симферополе, а на второй день выехали в Феодосию, а затем на Джанкой… К тому времени состав команды уже начал меняться — выбыли куда-то Юрьев, Герц. Повар Бруно на переправе был ранен, лег в госпиталь и уже не вернулся оттуда. Стал меня опекать шофер [54] душегубки Фриц. Его все боялись. Это был человек высоты двери, рыжий, типичный немец: крупный нос, глаза голубые, но мутные, огромные волосатые ручищи. Знаю, что у него была на родине девушка, он показывал фотокарточку — красивая такая медхен… Фриц ходил всегда неопрятный, ничего из одежды у него не было свежего, вечно потный. Как-то в воскресенье он напился, разбушевался между своими камерадами, взял из-под бензина бочку и киданул, — они все разбежались, еле его успокоили. Но ко мне относился по-человечески. Я после Джанкоя до самого Мозыря, пока отступали, спала в душегубке, — так Фриц мне всегда наложит одеял, матрацев и местечко выберет поудобней, чтоб не трясло. Но мне он был противен, мне больше нравился Ганс, его напарник. Тот был поспокойней, покультурней…

Из Джанкоя нас перебросили в Мозырь, в Белоруссию. Прибыли мы в апреле — березки уже распустились, — заняли двухэтажное помещение школы. Во дворе школы был особнячок, там жили высшие офицеры, там же вели следствие. Мы же разместились в самой школе.

В Белоруссии атмосфера была напряженная, кругом были партизаны, и операции против них велись день и ночь. С Кристманом я в тот период встречалась редко, не до меня ему было. Как шальные они метались из одной деревни в другую, шарили в поисках партизан, сжигали села и подчищали, уничтожали всех, кто им попадет под руку. Это был какой-то кошмар, казалось, что они все взбесились. В одной деревне побросали в колодец детей, в другой — перевешали всех жителей на деревьях, потом я сама видела, как во дворе школы расстреляли [55] учительницу-партизанку. Помню еще случай: привезли пленного комиссара. Его ужасно пытали, несколько суток, кажется, шел допрос. Только и разговору было, что об этом комиссаре. Он так и умер от нечеловеческих пыток.

Я тогдашнее их бешенство могу объяснить страхом: нигде они так не боялись партизан, как в Белоруссии. Говорили, что все дороги минированы, что в лесах действуют целые партизанские армии. И на самом деле — часто они возвращались с операций, везя с собой трупы убитых офицеров и переводчиков. И ходили грустные, шептались между собой: что, мол, будет? Наши же русские изменники реагировали меньше: им было все нипочем — один ответ…»

Но Томкин рассказ мне придется сейчас снова прервать ввиду некоторой его беглости: попробую дополнить его показаниями других очевидцев.

Километрах в сорока от Мозыря расположена лесная деревня Костюковичи: сюда еще и сегодня наведываются следователи и прокуроры, пытаются уточнить историю здешних колодцев. Собственно, история этих колодцев известна, старые колодцы говорят сами за себя, потому что они переоборудованы в памятники; сруб здесь — своего рода пьедестал, на котором возвышается обелиск с надписью: «В этом колодце немецко-фашистскйе захватчики утопили столько-то (следует цифра) советских патриотов, жителей деревни Костюковичи».

В июле 1943 года Кристман во главе зондеркоманды направился сюда из Мозыря — выехали ночью по боевой тревоге на автомашинах, с собой везли 45-миллиметровую противотанковую пушку. Задумана была большая операция. [56]

Прибыли к утру, в полутора километрах от деревни остановились и увидели, что из Костюкозичей по направлению к лесу толпами бегут люди.

Кристман, оценив обстановку, понял, что людей не догонишь, а забираться в лес он из-за партизан не решался, поэтому приказал развернуть орудие, — снаряды попадали прямо в толпу, много женщин и детей было убито, почти никто не ушел. После этого деревню оцепили, Кристман с эсэсовцами-офицерами и взводом солдат вошли в деревню, и тут снова разделись крики, заметались жители, поднялась стрельба…

Один из участников этой операции, стоявший тогда в оцеплении, на допросе вспоминал:

«…Через некоторое время нас с оцепления сняли. Когда я вошел в село, то увидел, что в одном месте была собрана небольшая группа людей, предназначенных для отправки в Германию, остальных — также группами — согнали к колодцам. У одного из колодцев стояло человек пятьдесят — женщины, старики, дети, причем среди детей были и грудные, которых матери держали на руках. Вся эта группа волновалась, кричала, плакала. Кое-кто пытался вырваться и уйти, но солдаты их тут же загоняли в толпу. Затем я увидел, как к этой группе подошел Кристман, отдал распоряжение карателям: что-то кричал, размахивал руками. Солдаты стали хватать людей, бросать их в колодец, толпа сопротивлялась, тогда, по команде Кристмана, эсэсовцы начали в упор расстреливать толпу из автоматов. Люди падали. Кристман рукой указал на колодец, и туда стали сбрасывать мертвых, раненых и даже тех, кто вовсе не был ранен, в том числе и детей. [57]

Расправа длилась полтора часа, затем собрали весь скот, выгнали его из деревни, а деревню сожгли…»

Томка сказала, что об этой операции она кое-что слышала, но подробностей вспомнить никаких не может.

В начале августа Томка узнала, «будто бы советскими войсками захвачено несколько карателей и в Краснодаре состоялся над ними суд, где они показывали на Кристмана, на Раабе, на офицеров, в общем на всю команду. Это известие вызвало большую тревогу…»

Суд, о котором говорила Томка, был знаменитым в свое время Краснодарским процессом 1943 года — первым в истории *судебным* процессом над фашистами.

Все газеты мира писали об этом процессе, на экранах показывали документальный фильм. Диктор говорил: «Пусть знают кристманы, герцы, кровавые палачи из зондеркоманды СС 10-а, что им не уйти от расплаты».

Конкретность в именах, в фактах была тогда чем-то неожиданным. Фашизм обычно связывали с именами главарей — Гитлера, Геббельса, Гиммлера, Теперь же вырисовывались лица конкретных исполнителей, участников, составлялся *счет* , с указанием, кому и за что придется по этому счету платить.

Этот процесс заставил Кристмана по-новому взглянуть на события. Привыкший к тому, что все, что он делает, одобрено, разрешено и предписано *законом* , он вдруг установил, что существует и другой *закон* , согласно которому его действия считаются уголовным преступлением, и что за этим «другим [58]законом» стоит *государственная* власть — судебный аппарат, армия. Словом, он, Кристман, из боевого офицера теперь как бы превращался в уголовного преступника, и для него отныне речь шла не о том, как успешно вести войну, а о том, как скрыться от суда. Это унижало, лишало привычной собранности. Впервые его охватил новый, неведомый ему прежде страх — не страх смерти в бою, а страх перед судом. И, движимый этим новым страхом, подчиняясь логике преследуемого законом уголовного преступника, он лихорадочно искал спасения, заметал следы, нервничал.

В Томкином рассказе это выглядело так:

«…Я начала замечать, что он не в себе, стал рассеяннее, а вскоре пошли в команде разговоры о том, что Кристмана откомандировывают в Германию. И однажды — это было в конце августа — он пришел ко мне днем (первый раз он пришел днем) и сказал, что уезжает в Германию. Я ответила, что знаю, слыхала уже. Он потрепал меня по щеке и пожелал счастья.

А через какое-то время и вся команда уехала, и я с ними вместе, в Люблин, в Польшу, где стали мы называться не зондеркомандой, а Кавказской ротой СД…»

Дальнейшие похождения Томки — уже без Кристмана: люблинское СД, Майданек, Ченстохов, Германия, поход через Югославию в Италию, в надежде сдаться американцам, и вот — «в одном месте нас задержали итальянские партизаны, сняли с машин и отправили в лагерь. А потом — куда брести? Приехали советские представители, возвращаться надо…» [59]

Томка сидит напротив меня, жалкая коллаборационистка, мусор войны… Папироска у нее погасла, и сама она погасшая, усталая — измотал ее этот рассказ. И вовсе она теперь не Томка, а Тамара Даниловна…

И она говорит: «Человек человеку — разница. Один человек может, жизни не щадя, держаться, а другой… Вот мальчишки дерутся, один искровавленный весь, а держится. А другой — его налупили, и он согнулся. У меня такое мнение, что я была из числа тех, кто согнулся. Это своеобразное человеческое поведение. А уж зацепился, сделал первый шаг — и возврата нет, и продолжаешь делать последующее…»

И, придвинув ко мне свои справки, она заключает просьбой: «Вы бы поглядели… Тут у меня все мое дело. Я думаю, нельзя ли мне выхлопотать восстановление стажа, так как ведь не по своей вине я находилась у них, а как бы пленная…» «

Вот в связи с этой эпопеей, где все на пределе, где самое дно «бездны», мне и вспомнилось мое путешествие в ту страну, откуда пришел к нам однажды Кристман со своей зондеркомандой. Эта страна жила своей жизнью — ела, пила, веселилась, торговала, строила, вооружалась, проводила кинофестивали и шумные политические митинги, — но мало кто сгорал со стыда, мало кто думал о Кристмане, как если бы он не имел к этой стране ни малейшего отношения. А он был здесь, я знал это из отрывочных и неясных сообщений. Он был где-то здесь, то ли в Гамбурге, то ли в Мюнхене, и я испытывал чувство, какое [60]бывает, когда сидишь в комнате, а тебе кажется, что присутствует еще кто-то, невидимый, спрятанный за портьерой…

После Мозыря Кристман был назначен начальником гестапо сначала в Клагенфурт, в Австрию, а затем в Германию, в Кобленц, где прослужил до самого конца войны, занимаясь будничными своими делами: ловил дезертиров, которых с каждым днем становилось все больше, выявлял саботажников и людей, уличенных в пораженческих настроениях. Это были пожилые рабочие, и чиновники, и молодые студенты, и солдатские вдовы, и вернувшиеся с фронта инвалиды войны.
Всех их доставляли в кабинет, где за длинным столом восседал маленький тонкогубый человек с большими мясистыми ушами. Они смотрели в его лицо и, понимали, что это — конец, что это — гестапо, откуда нет выхода. И они досадовали на свою судьбу, потому что двенадцать лет беда обходила их стороной, а сейчас, когда приближалась развязка и вот-вот должен был развеяться двенадцатилетний кошмар, с ними случилось непоправимое несчастье.

К тому времени Германию с востока и с запада уже кромсали союзные армии, но там, куда они еще не дошли, фашистский быт сохранялся во ВСей своей повседневной незыблемости, с гестапо, с нацистскими газетами, в которых спокойно сообщалось о «росте национального дохода» и видах на урожай, с обычными радиопередачами: 19.30–19.45 — сводки с фронтов, 19.45–20.00 — статья доктора Геббельса, 20.15–22.00 — Моцарт, «Волшебная флейта…»
За пять дней до капитуляции Кобленца Кристман [61] еще допрашивал арестованных, шагал по кабинету, резким голосом кричал: «Ты, свинья! Ты, безмозглая задница! Ты, отвратительный, смердящий ублюдок! В то время как весь народ, не щадя крови, приносит себя в жертву, чтобы спасти цивилизацию от большевиков, ты наносишь ему предательский удар в спину!..»

И он ставил на протоколе допроса условный знак — крест, обозначавший смерть.

ИЗ СТАТЬИ СОБСТВЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА

ГАЗЕТЫ «ТРУД» В БОННЕ — А. ГРИГОРЬЯНЦА…

…Штахус — самое бойкое место Мюнхена, центральная площадь города, куда вливается множество улиц. Круглый день она захлестнута толпами людей и потоками автомобилей. Над площадью высится светлый многоэтажный дом: Штахус, Штютценштрассе, 1. В одной из витрин — рекламный щит: «Вы выбрали правильно: маклерское бюро доктора Курта Кристмана. Земельные участки, дома, квартиры. Третий этаж»,

Поднимаюсь ка лифте, вхожу в приемную. За пишущими машинками две молодые дамы. Налево в открытую дверь видны столы служащих. Направо — кабинет шефа. Солидная контора.

Секретарша докладывает. Вхожу к шефу. Навстречу спешит маленький человек с длинным лицом и мясистыми торчащими ушами…

— Не вы ли Курт Кристман, бывший начальник зондеркоманды СС 10-а?

— Нет, я такого не знаю.

— Вы были в России?

— Был, но солдатом…

Смотрит прямо в глаза, ни тени волнения, спокоен и уверен. В следующее мгновение засыпает меня вопросами: откуда я знаю Кристмана, какие имеются доказательства его виновности, сообщила ли мне что-нибудь о Кристмане прокуратура? [62]

Шеф конторы пускается в воспоминания о России:

— Прекрасная страна, замечательный народ.

Выражает «сожаление», что был в СССР как оккупант. Переходит к своим коммерческим делам: все прекрасно, конъюнктура отличная. Население Мюнхена растет, спрос на жилье огромный.

Провожая меня до самого выхода, приглашает заходить.

— Да, но где же мне искать того Кристмана?

— Если мне что-нибудь станет известно, сообщу.

Покидаю контору процветающего дельца. Пересекаю Штахус и… иду в прокуратуру. Прошу, наконец, определенно сказать, какова сегодняшняя профессия Курта Кристмана, бывшего оберштурмбанфюрера СС.

— Маклер по недвижимому имуществу. Земельные участки, дома, квартиры… [63]

Скрипкин

О Скрипкине мне рассказывали в Таганроге в первый мой приезд: «Это наш, таганрогский». Его хорошо в городе знали: фигура приметная — долговязый, с острыми плечами, глаза глубоко запавшие, голос сиплый. И фамилия прилипчивая, немного смешная — Скрипкин.

До войны он был футболистом, имел даже своих болельщиков, тогда говорили: «Скрипкин — этот забьет!», «Дает Скрипкин!» А потом, уже при немцах, увидели вдруг Скрипкина на улице с повязкой полицая и ахнули: вот так Скрипкин, центр-форвард!

Куда-то он вскоре с немцами исчез, и жена его все ездила зачем-то, говорили — к нему, барахло от него привозит с убитых. Объявился он только в 56-м году, когда вышла амнистия, — опять он был в Таганроге, Скрипкин. Только был он теперь не прежний футболист, а сильно ссутулился, ссохся, сипел и кашлял в платок.

Скрипкин поступил на хлебокомбинат, и всегда [64] вокруг него какой-то шумок был. То его куда-то вызывают, то на работу к кему приходят люди в штатском, беседуют, записывают что-то; на судах он выступал несколько раз свидетелем…

Между тем в ходе свидетельских его показаний все ясней становилось, что был он не простым полицейским, хотя до самого ареста убеждал следователя: «Не такой я человек, чтоб скрывать. Было бы за мной что — сам бы раскололся. Отцепитесь вы от меня, ради бога».

Может быть, и стоило отцепиться от Скрипкина, да не отцепились: следователь настоял на своем — в 62-м году, 5 ноября, под праздник, явился к нему: «Ну, Валентин Михайлович, поехали..,» Валентин Михайлович спорить не стал, грустно надел пальто, шапку, пошел, как во сне.

Этот следователь мне потом рассказывал: «Привез я его в Ростов, только сел писать первый протокол, он тут же и рассказал все основное. И так уж держался до самого конца следствия, не отступал от своих показаний».

А «показывать» ему было что: из таганрогской полиции он попал в Ростов, в зондеркоманду. Соблазнил его на это дружок — Федоров, художник кинотеатра «Рот фронт», назначил Скрипкина своим помощником (Федоров был в зондеркоманде взводным). С немцами, с гестапо, проделал Скрипкин весь путь: был в Ростове, в Новороссийске, в Краснодаре, в Николаеве, в Одессе, затем — в Румынии, в Галаце, в Катовицах, в Дрездене, в Эльзас-Лотарингии, расстреливал, закапывал, конвоировал узников в Бухенвальд, в Николаеве служил охранником в гестаповской тюрьме, наконец, стерег под Берлином, в [65]международном штрафном лагере, венгров, поляков и итальянцев.

Впервые в «массовой экзекуции» Скрипкин участвовал в Ростове — там 10 августа 1942 года на домах немцы расклеили «Воззвание к еврейскому населению города Ростова».

Вот полный текст:

«В последние дни имелись случаи актов насилия по отношению к еврейскому населению со стороны жителей не-евреев. Предотвращение таких случаев и в будущем не может быть гарантировано, пока еврейское население будет разбросанным по территории всего города. Германские полицейские органы, которые по мере возможности противодействовали этим насилиям, не видят, однако, иной возможности предотвращения таких случаев, как в концентрации всех находящихся в Ростове евреев в

отдельном районе города. Все евреи гор. Ростова будут поэтому во вторник 11 августа 1942 года переведены в особый район, где они будут ограждены от враждебных актов.

Для проведения в жизнь этого мероприятия все евреи, обоих полов и всех возрастов, а также лица из смешанных браков евреев с не-евреями должны явиться во вторник 11 августа 1942 года к 8 часам утра на соответствующие сборные пункты…

Все евреи должны иметь при себе свои документы и сдать на сборных пунктах ключи занятых до сих пор ими квартир. К ключам должен быть проволокой или шнурком приделан картонный ярлык, носящий имя, фамилию и точный адрес собственника квартиры. [66]

Евреям рекомендуется взять с собой их ценности и наличные деньги; по желанию можно взять необходимейший для устройства на новом местожительстве ручной багаж… Беспрепятственное проведение в жизнь этого мероприятия — в интересах самого еврейского населения…

За еврейский Совет старейшин д-р Лурье».

И внизу по-немецки: «SS — Sonderkommando 10-a».

В Ростове, весной 1963 года, я случайно оказался на том месте, где был один из таких сборных пунктов. На улице Энгельса, напротив «Московской гостиницы», возле железной ограды парка, я стоял, пытаясь представить себе, что здесь делалось и как бы я тут стоял в августе 1942 года, поскольку жизнь — это цепь непредвиденных и необъяснимых ходов. Кто знает?..

Но тогда здесь стоял не я, а доцент Ботвинник — преподаватель литературы Ростовского пединститута, и рядом с ним — преподаватель английского языка Бакиш и студентка третьего курса Леви. Они пришли сюда не под конвоем — сами явились, с вещами, с чемоданчиками, и отдавали, согласно «воззванию», снабженные бирками ключи от своих квартир. Многих пришли провожать соседи, знакомые, а доцент Ботвинник пришел вместе со своей «не-еврейкой» женой, которая довела его до железной ограды, а потом перешла на противоположную сторону улицы, там, где «Московская гостиница». И доцент Ботвинник смотрел на свою жену и не плакал, а по ее лицу катились слезы…

И вот — странное и страшное дело: улица как улица, какая, собственно, разница, правая сторона или [67] левая, но между теми, кто стоял у гостиницы, и теми, возле железной ограды парка, пролегла граница, отделявшая жизнь от смерти, и уже никто не решался эту границу переступить. Не нужны были ни крепостные стены, ни колючая проволока, ничего, — только двух слов было достаточно, чтобы определить место и судьбу человека: «Вам *сюда* …»

Доктор Лурье принимал ключи и успокаивал плачущих: «С вами ничего не сделают, чего вы паникуете? Вы будете жить в отведенном для нас городке и работать, как раньше».

Подъехали крытые брезентом грузовики. Люди с чемоданами залезали в машины, подсаживали стариков, брали на руки детей. Возле гостиницы замахали платками…

* * *

Взводу Федорова приказали отправиться на операцию. Явился немецкий офицер, через переводчика объяснил: грузиться в автобусы. Переводчик был в немецкой форме, но без погон, местный немец — «фольксдойче». То, что он был «дойче», делало его на две головы выше всех остальных из федоровского взвода, он принадлежал к избранным, к высшим, однако то, что он был не германский немец, а «фолькс», как бы несколько обесценивало его арийскую сущность, и поэтому он в зондеркоманде занимал некое промежуточное положение…

Скрипкин с винтовкой забрался в кузов; что за операция, он еще не знал, подумал только: может, пленных везут конвоировать или на облаву. Ехали через весь город, на далекую окраину. Километрах в десяти от Ростова машины остановились, и Федоров [68] скомандовал: «Вылазь!» Скрипкин вылез, осмотрелся- вдали виднелась железная дорога, станционные постройки, домики. Рядом был глубокий песчаный карьер. Около этого карьера их поставили полукругом — немецкий офицер командовал, переводчик переводил, и Скрипкин тогда догадался, в чем дело.

Вскоре со стороны Ростова показалась первая крытая брезентом машина. Она остановилась неподалеку от карьера. Из машины вышли люди с чемоданами,,.

«Операция» проводилась следующим образом. Возле одного из домов привезенные раздевались, — сразу же начинался шум; кричали от неестественности ситуации и от ужаса, потому что как так: приехать куда-то — и вдруг, ни с того ни с сего, велят раздеваться донага, торопят, и хотя ничего не объясняют, все уже становится совершенно понятным. И тогда их охватывало чувство смертельной дурноты, которое бывает, когда тонешь или во время сильного сердечного приступа. И все же в последнем отчаянии сознание еще продолжало сопротивляться, билось, верило, что сейчас все это развеется, в последнюю секунду выплывешь, произойдет чудо, — и отчаянный взгляд человека на краю обрыва цеплялся за Скрипкина. Но он стоял угрюмый, непроницаемый, с левой стороны, рядом с полицейским Лобойко, и не сводил глаз с жилистого немецкого офицера, который бегал с автоматом на шее, суетился, приказывал, подталкивал людей к бровке, ставил

их на колени, а затем стрелял им в спину или в затылок. Скрипкин спросил Лобойко, кто этот офицер. Так он впервые услыхал имя Герца.

Напротив себя, в правой стороне полукольца, [69] Скрипкин приметил молодого толстого полицейского в полувоенном френче. Парень держал винтовку неумело, его пухлые руки подрагивали. Когда мимо него подводили к бровке людей, он от них отворачивался. Герц хлестнул его взглядом, парень перестви дрожать, сжал винтовку покрепче. А потом Скрипкин услышал крик — это уже к нему, к Скрипкину, обращался командир взвода Федоров: «Стреляй!» Он вскинул винтовку и выстрелил.

…Когда «операция» закончилась, Скрипкин сказал Федорову:

— Картина очень тяжелая, давай едем домой… Федоров ответил:

— Ты что, с ума сошел? Расстреляют и нас и семьи наши…

Вечером Федоров затащил Скрипкина на склад, где лежали вещи убитых. Барахло было не бог весть какое — Скрипкин ждал большего, — все же они потихоньку, чтоб не заметили немцы, выбрали себе каждый по костюму двубортному, а Скрипкину достались еще и детские распашонки, правда сильно испачканные кровью.

Придя в казарму, они выпили — после «операции» полагалась водка, — и Скрипкин вспомнил о доме, представил себе, как обрадуется жена, получив от него посылку, и на душе у него потеплело…

Так убийство стало его профессией. Три года подряд он расстреливал, вешал, заталкивал в душегубки — долговязый человек в крагах и сером пиджаке. И раз уж он убивал и раз уж у него была такая служба, то он хотел, чтобы это было не за «здорово живешь», не задаром, а чтобы хоть что-то нажить на этой работе. [70]

В зондеркоманде, среди карателей, Скрипкин слыл одним из самых «богатых»: чего он только не напихал в свой вещмешок, пройдя пол-Европы!

Став помощником командира взвода, он других карателей просто «доводил» своей требовательностью, во все совался, ни одна почти операция не проходила без его личного участия… Здесь, в этой страшной команде, которая колесила по дорогам войны, Скрипкин почувствовал оседлость, проникся солидностью своего положения, и хотя его власть распространялась всего лишь на нескольких изменников, все же это была власть, и он дорожил ею.

На третьем году Скрипкин увидел, что война немцами проиграна, все летит к черту. Тогда он решил начать новую жизнь, подался к американцам, но в горячке первых послевоенных дней был американцами передан на советский фильтрационный пункт, где его разоблачили как «бывшего полицейского» и на десять лет отправили на Колыму…

Работал он там, говорят, неплохо, но ни лагерное начальство, ни товарищи по заключению не знали, конечно, что покладистый и болезненный Скрипкин — величайший злодей, на счету у которого много сотен, а может быть, и тысячи загубленных человеческих жизней.

Один только Скрипкин знал о себе все.

И вот в феврале 1963 года в Краснодаре, на допросе, я вижу Скрипкина.

У него длинные руки, косой нос, весь он какой-то складной, как нож, — можно, кажется, сложить пополам его ноги, руки, длинное туловище…

…Его ввели сонного, заспанного; синий свитер, серый потертый пиджак, волосы зачесаны гладко назад. [71]

Уселся за столик, скрестив длинные, в кирзовых сапогах ноги. Я смотрю на его скучающее лицо, на то, как больничными, чистыми пальцами он вертит спичечную коробку, выслушивает вопросы следователя и отвечает покладисто, односложно.

В Краснодаре, в тюрьме, его лечат, возят в городской тубдиспансер на «поддувание» (пневматоракс), следователь ведет допрос беззлобно:

— Так давайте уточним, Валентин Михайлович… И он уточняет:

— Во время расстрела я помню такой случай. Среди арестованных находилась молодая женщина, с нее сорвали нижнюю рубашку, затем, с целью поглумиться, — и трусы. Не выдержав надругательств, она бросилась на карателей, среди которых стояли я и Еськов. Мы от неожиданности отпрыгнули в сторону. Женщина была сбита с ног немцами, а мы с Еськовым схватили ее, голую, за ноги и за руки, подтащили к окопу и сбросили туда. Там она была убита немцами…

Обо всем этом он рассказывает медленно, сонно. Сидит, подперев длинную, вытянутую голову костлявым кулаком, курит, экономя папиросы и спички.

Перед тем как присутствовать на допросе Скрипкина, я прочел его дело, протоколы его показаний и заготовил несколько вопросов, которые мне разрешили ему задать.

Теперь я сам понимаю, насколько эти вопросы были наивными, но о чем было спрашивать?

1. Сколько времени вы при немцах прожили в Таганроге до вступления в полицию?..

— Октябрь, ноябрь, декабрь… Время было тяжелое, особенно с материальной стороны. Ходил в [72] села, менял барахло на продукты, семья голодала, и сам был голодный. Так шло месяца три — четыре, пока не познакомился с художником Константином Федоровым. Он говорит: «Дурак,

хочешь, я тебя устрою, приходи завтра ко мне…» Скандалы были у меня с женой и тещей, ругали меня сильно за то, что связался с полицией…

2. Отношение к вам со стороны бывших товарищей, соседей по работе (в Таганроге)?

— Относились с презрением, чуждались…

3. Почему вы стали убийцей?

— Попал в свиное стадо, вот и сам стал свиньей…

4. Что вы делали после расстрелов?

— Кушали, газету читали, играли — в домино, в карты. Или разучивали немецкие строевые песни…

5. Кристман?

— Кристман — это фигура, все его боялись…

6. Вот вы доставляли арестованных в Бухенвальд и бывали в Веймаре. Какое Веймар на вас произвел впечатление?

Я вспоминаю Веймар, дом Гёте, дом Шиллера, брусчатку перед театром, замок герцога — Скрипкин в Веймаре?! — но, не обращая внимания на мою «литературщину» и не зная, кто я такой, Скрипкин без раздражения и недоумения говорит:

— Ничего не нашел там, в Веймаре, достопримечательного: небольшой такой городок. Материальная сторона тяжелая. Зашел пива выпить — и то искусственное.

7. А знали ли вы, что в Бухенвальде сидел Тельман? И кто такой Тельман, вы знаете?..

Он все так же рассудительно отвечает на этом странном экзамене: [73]

— Тельман — вождь компартии Германии. А что он сидел там, не знал…

8. Книги вы читали?

— Как же не читать? Много читал: русских классиков, иностранную литературу.

Теперь мы с ним беседуем, я узнаю, что в Таганроге, незадолго, до ареста, он познакомился и чуть ли не подружился с человеком, который «вернулся из Дахау с татуировкой-номером. Рассказывал, что был там и спасся от смерти». С этим человеком Скрипкин коротал вечера за бутылочкой, слушал его рассказы и вздыхал, словно удивляясь тому, что человеку пришлось пережить и какие на свете бывали злодейства. И вся эта история существовала как бы отдельно от него самого, и он ее не связывал с собой никак. И они сидели за бутылочкой в Таганроге и качали головами.

И там, в Таганроге, он ужасно не хотел, чтобы его арестовали, потому что считал, что ничего все равно не исправишь, а жизнь доживать как-то надо. У него два сына; старший, который сейчас во флоте, родился как раз во время войны, в то самое время, когда Скрипчин служил в зондеркоманде, а

младший — теперешний, уже после возвращения из лагеря, и этому сыну пять лет…

Так он рассказывает о себе. Вечер, в следовательском кабинете почти уютно, и я задаю Скрипкину вопрос, почему же он, если не в 45-м, так в 62-м году, сам не признался во всем, и он отвечает:

— Тогда не хватило мужества, боялся, а теперь рассказываю всю правду, ничего не скрываю…

Только что, еще не видя Скрипкина, я читал его показания и думал, что увижу чудовище, наглого и [74] развязного бандита, но вот он сидит передо мной — вялый, угасший, и я слушаю его сонную речь и никак не могу представить себе, что это и есть тот самый Скрипкин. Как их связать между собой, совместить воедино — того, кто в «деле», и этого, сидящего за столиком?

И вдруг следователь как бы невзначай спрашивает, за что ему немцы дали медаль, и Скрипкин устало поднимает глаза (не знал, что это известно следствию) и говорит:

— За выслугу лет, за что же еще могли дать?

Следователь — так учитель говорит с провинившимся учеником — укоризненно качает головой;

— Нет, нет, Валентин Михайлович, как же так, какая там была выслуга? Давайте прикинем, медаль-то вы получили когда?..

И Скрипккн тоже усмехается, слегка даже довольный,- вот, мол, какой у меня следователь молодец, не дурак парень, такого не обманешь,- и уступает:

— Ну, не за выслугу, так за хорошую службу.

Следователю этого мало, наседает на Скрипкина:

— За какую же такую хорошую службу, Валентин Михайлович, попробуем уточнить? — Встал, подошел к Скрипкину вплотную. — В чем хорошая служба-то выражалась?

Теперь Скрипкин замыкается — взгляд уполз. Сипло, погасшим голосом:

— Что у меня, *генеральские* мозги, что я все должен знать?..

Следователь:

— Ранили-то вас когда, Валентин Михайлович? Летом 1943 года? Вот-вот! В боях с партизанами. За эту [75] операцию вы и получили медаль. Что же там было, расскажите.

— Ну, что было? Ничего не было. Выезжали мы в село Александровку, в Черные леса, на операцию против партизан, человек двадцать группа. Приехали в лес, а там, в лесу, на горе, церковь была. Эту гору мы окружили, послали наверх разведку, а потом начался бой. Это против Калашникова-партизана была операция: он под видом немецкого офицера увез двадцать наших полицейских…

Я стоял в оцеплении, стрелял, был ранен в ногу. Бой шел долго, часть партизан ушла, часть погибла. Вообще в том бою много было жертв с немецкой стороны и с нашей…

— С какой нашей?

— С советской.

— А вы на какой стороне были?

— На немецкой… [76]

Еськов

СОБСТВЕННОРУЧНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ЕСЬКОВА МИХАИЛА ТРОФИМОВИЧА

(Выдержки)

…Я это увидел впервые так близко, поэтому потерял самообладание, кидал лопатой землю, но не видел, куда она летит. Немцам казалось, что мы работаем медленно, они все время кричали: «Шнель, шнель!»

После того как трупы были прикрыты землей, мы сели отдохнуть, доктор Герц шутил, смеялся (как будто это была обычная земляная работа).

Вечером командир взвода собрал нас всех, кто был в этой операции, и сделал выговор, что «доктор» недоволен нашим поведением и трусостью. Он предупредил меня, что я должен взять себя в руки и быть мужчиной…

* * *

…Когда мы въехали во двор, я услышал крик женщины. Немец с погонами унтер-офицера вырвал из рук женщины ребенка 4-х — 5-ти лет и забросил в машину. Один из полицейских толкнул женщину, которая бежала следом за немцем; она упала. Потом мы подъехали уже к другому дому, на другой улице, и вчетвером зашли в квартиру. Впереди шли вахмистр и переводчик с адресами… [77]

…Как только Ганс открыл дверь душегубки, а переводчик приказал всем раздеваться, нам тоже была дана команда подойти ближе. Двое из пеших стали с двух сторон душегубки, охраняя ВЫХОД во двор, а я и еще трое начали заставлять арестованных быстрее раздеваться. Они уже поняли свой приговор. Некоторые оказывали сопротивление, их приходилось заталкивать силой, другие не могли раздеться — тогда мы срывали с них одежду и вталкивали в душегубку. Многие проклинали нас, плевали в лицо. Но никто не просил о пощаде.

Доктор Герц в это время стоял на возвышении и с довольной улыбкой наслаждался страшной картиной уничтожения. Иногда он что-то говорил переводчику и громко смеялся.

Когда все арестованные были помещены в душегубку, Ганс захлопнул герметическую дверь, соединил шланг с кузовом и дал обороты мотору. Д-р Герц сел в кабину. Заревел

мотор, заглушая чуть слышные стуки и крики умирающих, и машина выехала со двора… Мы — все шесть человек — сели во вторую машину, стоявшую тут же. В кабину сел переводчик и поехал за душегубкой. Машины шли по главной улице, по направлению к роще, в виноградники.

Доехав до противотанкового рва, шофер подогнал душегубку задом ко рву и открыл дверь. Доктора Герца мучило нетерпение, он беспрерывно заглядывал в душегубку, и — еще не полностью вышел газ — он приказал вы5расывать трупы. Один из наших стал подталкивать трупы к двери, двое — за ноги, за руки, как попало — сбрасывали посиневшие и испачканные испражнениями тела в яму. Они падали друг на друга, при падении издавали какой-то характерный, охающий звук, и казалось, сама земля стонала, принимая несчастные жертвы.

Выполняя эту ужасную работу, мы торопились, подгоняли друг друга. Доктор Герц нас иногда придерживал. Он внимательно осматривал жертвы.

После этого мы вымыли руки, сеги в свою машину и отправились в рейс за второй партией…

* * *

…В один из дней я стоял на посту во дворе зондеркоманды, у входа в подвал. Подошел молодой офицер с переводчиком и приказал мне следовать за ними. Спустившись в подвал, офицер отпер одну из камер, а меня поставил с винтовкой против двери. [78]

Как только дверь отворилась, я увидел камеру (в ней было одно маленькое окно с решеткой), набитую арестованными. Ударил тяжелый воздух испарений, люди с изможденными лицами, мокрые от жары и спертого воздуха, стали кричать все сразу, ничего нельзя было понять в этом сплошном шуме проклятий. Некоторые лежали на полу и уже не могли подняться, только показывали на побелевшие губы и просили воды. Другие кричапи: «мучители», «палачи», «будьте вы прокляты». Вперед пробралась одна женщина; она была с распущенными волосами, с посиневшим лицом, на ней было изорванное платье, совершенно открытая тощая грудь; у нее лихорадочно блестели глаза. На вытянутых руках она держала худенький труп ребенка. Подошла к двери и истерически захохотала. Офицер захлопнул дверь и вышел. Следом за ним вернулся на свой пост и я. Но у меня еще долго в ушах стоял этот страшный смех смерти.

Чепез некоторое время подошла душегубка, и мы приступили к погрузке…

* * *

…Расстрел военнопленных возглавлял немец, офицер, лет 40–45. Роста он был среднего, коренаст, широк в плечах, крепкого телосложения. Широкое лицо, тяжелая нижняя

челюсть. В его движениях и взгляде было что-то звериное. В моей памяти этот человек остался как самый страшный из всех виденных мной палачей.

В этот день нас было выставлено больше обычного. Как правило, на душегубку выставлялось человека 4–6, а здесь была организована вся команда, все принадлежащие ей машины. Кроме того, были выставлены машины и люди из немецких войсковых частей.

Как только оцепление было выставлено, военнопленным приказали вылазить из машин и садиться в одном месте, метрах в пятидесяти от ямы… Мне кажется, что офицер, командовавший операцией, делал это, чтобы насладиться муками людей, которым надо было проходить такой большой путь к смерти.

Приказали проходить по одному.

Расстрел начался.

Обреченные по одному, кто медленно, кто бегом, подходили и становились по колено в воду, в ров. Офицер не торопился. Он даже указывал рукой, где стоять. Стрелял одиночными выстрелами в затылок, трупы падали в воду, мутная вода [79] окрашивалась кровью. Так прошло примерно около 15–20 человек. Военнопленные уже стали подбегать по два и по три человека сразу. Еще стоявшие не были расстреляны, как подбегали новые, поэтому некоторые успели упасть в воду, не замеченные палачом. В это время один из военнопленных, дойдя до ямы, не прыгнул в нее, а пробежал сзади офицера, перескочил через насыпь и скрылся в винограднике. Увидев это, палач зарычал, посмотрел на нас и побежал следом за ним.

В эту минуту, когда расстрел временно прекратился, из ямы на другую сторону рва стал вылезать человек. Кто-то крикнул: «Стреляй!»; я вскинул вингозку и выстрелил в этого человека. Он осунулся и упал в ров…

…В Новороссийске я участвовал в расстреле советских активистов. Среди них был раздетый до пояса мужчина, лет пятидесяти, с небольшими, поседевшими усами. Вышел, посмотрел на нас с презрением. Спокойно пошел к окопу, спрыгнул в него, встал лицом к немцу и сказал: «Стреляй, фашист!» Офицер растерялся и потребовал, чтобы человек повернулся спиной. Шеф заинтересовался этой картиной и подошел ближе. Засмеявшись, он направил автомат на пожилого человека. В это время человек громко закричал: «Да здравствует…» — автоматный выстрел оборвал его последние слова.

Нескольких нам пришлось силой подталкивать к окопу. Они упирались, называли нас фашистами, гадами, старались укусить или ударить…

* * *

…Однажды меня подсадили в камеру к арестованным и отвели в подвал. Там находилось несколько человек: мать со взрослой дочерью (лет 18–20), одна туберкулезная женщина, которая все время лежала. Еще трое.

Люди не знали, кто я, и верили мне, когда я им сказал, что пробирался домой из плена. Они мне сочувствовали, успокаивали и говорили, что ничего тебе не будет, отправят обратно в концлагерь и все. Они мне выделили место в каморке и все беспокоились о своих квартирах, чтобы никто не разграбил их вещи. Ночью все спали, только я один не мог уснуть, ждал утра. Больная женщина меня все укладывала и успокаивала.

Утром переводчик вызвал меня к шефу, он спросил, о чем были в камере разговоры, и приказал вернуть мне форму, а затем отправиться со служебным автобусом к месту расстрела. [80]

Из подвала вывели знакомых мне женщин. Я не мог смотреть им в глаза. Увидев меня в немецкой форме, они удивились, но никто из них не сказал мне ни слова. Я о них ничего плохого не говорил, но я чувствовал себя таким подлым и низким человеком. Меня, очевидно, специально вывели на этот расстрел. Мне жаль было этих простых и добрых людей, но я не находил выхода, попав в зту кровавую шайку.

Повезли. Заехали по дороге в один дом, захватили женщину лет сорока с ребенком. В руке она держала бутылочку с молоком. Ее усадили в автобус, и мы поехали. Это была жена начальника милиции.

Мы прибыли к месту казни. Арестованные вышли. Больная женщина сказала: «Расстреливать привезли, гады». Мать громко рыдала, обнимая и целуя дочь. Женщина крепко прижала к груди ребенка. Больная, сбросив платок, сошла в окоп и, повернувшись, сказала: «Придет и ваша смерть, выродки!» Офицер выстрелил и закричал: «Шнель!» Мы тоже кричали: «Быстрее! Быстрее!» — подталкивая арестованных. Дочь вырвалась из объятий матери, громко крича: «Да здравствует Ленинский комсомол!» Прыгнула в окоп — ее застрелили. Мать побежала следом, ноги ее не слушались, она спотыкалась и падала. Добежав до окопа и крикнув: «Доченька!» — упала и обняла окровавленный труп дочери. Очередной выстрел оборвал ее рыдания, и они остались лежать, обнявшись, обливая друг друга кровью. Последней спрыгнула женщина с ребенком, закрывая его своим телом. Офицер стволом автомата повернул женщину и выстрелил в ребенка. Мать вскрикнула, крепче прижала ребенка к груди, но следующий выстрел разделил их: труп ребенка упал из рук матери и откатился в сторону. Мы закопали еще истекавшие кровью трупы. На обратном пути один из карателей нашел бутылочку с молоком и, смеясь, выпил: ке пропадать же добру!..

…В 1943 году мне удалось скрыть от суда страшные картины уничтожения невинных советских людей, но не удалось мне их скрыть от самого себя…

Еськов — человек с задатками к сочинительству, в своих собственноручных показаниях он создал «образ Еськова». Начинаются показания с эпизода в Севастополе: двое в окопе, город уже сдан, а они все еще держат окоп в Песочной бухте — два черноморских матроса. К окопу вплотную подошла немецкая танкетка, те двое дали последнюю пулеметную очередь, больше патронов не было. Танкетка огрызнулась — одного матроса убило, второго контузило.

Тот, кого убило, остался навсегда безымянным героем. Он похоронен в братской могиле, и к подножию его памятника приносят сегодня цветы.

Тот, кого контузило, — Еськов.

Еськова приводят из камеры, он кивает следователю, увидев меня с блокнотом, понимающе подмигивает:

— А, из редакции! Ну, пиши, пиши: «узкий лоб, звериные глаза…»

Он сидит в сатиновых брюках, в тапочках, из-под расстегнутой серой рубахи видна морская тельняшка. Зажигая спичку, держит ее, не поднося к папиросе, ждет, пока спичка не обгорит до самых пальцев.

Допросы он любит — в разговоре со следователем отдыхает от тюремной тоски, резонерствует.

Говорить умеет образно, складно и грустно, и своим умением любуется:

— Хорошо быть героем, когда за тобой армия идет, а без оружия — что сделаешь?..

О зондеркоманде:

— В зондеркоманде пасынков не было (это — о том, что все выполняли одинаковую «работу» и без исключения участвовали в расстрелах)… [81]

— Вот — вы плотник. Лучший плотник, — значит, бригадир. А там же специальность — убийство. Лучший убийца, — значит, взводный…

О тогдашнем (43-го года) себе:

— Попал в водоворот войны, молодой был — мне тогда роща лесом казалась… Не нашел я пути, запутался, вот и все…

О себе он рассказывает охотно, особенно складно получается у него история о том, как записался в зондеркоманду. Это почти повесть, психологическая новелла, я ее здесь изложу.

…В Севастополе его подобрали, привезли в немецкий госпиталь, и это было удивительно, потому что Еськов слышал, что немцы убивают пленных на месте. Он пролежал несколько дней, его лечили, давали кое-какую еду. Палату обходил врач в фуражке с кокардой, изображавшей череп. Еськов рассмеялся: вспомнил, что врачей иногда в шутку называют «помощниками смерти». Он еще не знал, что здесь эта шутка приобретает совсем иной смысл: госпиталь находился в ведении службы безопасности — СД.

На шестой день выздоравливающих построили в колонну, повели пешком в Симферополь. На тридцатом километре колонна остановилась. Офицер сказал:

— Кому трудно идти, будет доставлен на подводах.

Сразу же объявились желающие. Их отвели за обочину дороги и расстреляли.

Из двухсот человек до Симферополя дошло пятьдесят.

Еськов был среди них.

Спасение пришло неожиданно: в лагерной канцелярии стали составлять списки уроженцев близлежащих [83] районов — Крыма, Ставрополья, Кубани — для отправки на сельскохозяйственные работы по месту жительства.

Еськов, узнав об этом, прибежал в канцелярию, заявил, что он родом из Ставрополя. Ему ответили, что он скоро поедет домой, надо будет только немного послужить в «русском взводе» — караульная служба, охрана объектов: такое здесь правило. Сперва самая мысль о том, чтобы служить немцам, показалась чудовищной. Он уже в душе, в воображении своем, отвечал гневным отказом; это длилось секунду, пока он в душе произносил речь, а сам взял ручку, расписался в расписке и снова стал рисовать картину, как, получив от немцев оружие, перебьет охрану, взорвет какой-нибудь склад — и вот, во главе батальона военнопленных, он переходит линию фронта и… и…

Его одели *в* немецкую форму, на рукав нашили черную ленту с надписью: «Зондеркоманда СС 10-а».

Первые дни особенного ничего не было: занятия — строевая подготовка, топография — движение по азимуту, стрельба. Заставляли разучивать немецкие песни, русскими буквами он записывал: «Ин ай-нем грю-нен заль-де да штейт дес фёр-стерс хауз».

Пришел немец, стал проводить по-русски беседу, тема — «Речь фюрера Гитлера от 26-го числа…». Тема на завтра — «Мать и дитя в новой Германии»…

Роздал брошюрку «Зверства ОГПУ».

Еськов все это воспринимал как сон, но постепенно стал привыкать, понял, что теперь ему одна будет дорога — с немцами.

А потом — однажды утром — их, со взвода человек шесть, вызвали, погрузили в машину с червовой [84] десяткой на кузове, и Еськов, ужаснувшись, подумал, что везут их всех на расстрел. Но когда прибыли на место и получили винтовки, успокоился, да ненадолго, потому что вскоре прибыли другие машины, откуда стали выгружать арестованных, и он понял, что не его будут расстреливать, а ему самому придется расстреливать других. И он стоял, и трясся, и хотел одного — чтобы скорее все это началось и скорее кончилось. И он услышал, как взводный сказал: «У кого слабое сердце, пусть становится на их место».

Но он уже решил, что стрелять по людям не будет, может быть, вообще не будет стрелять, а так для виду — только вскинет винтовку или, в крайнем случае, пальнет поверх голов в воздух. А когда раздалась команда, он прицелился и выстрелил в человека, и стрелял в людей до самого конца операции, и руки у него не дрожали…

Так он прослужил у немцев шесть месяцев, пока не представилась возможность отправиться в отпуск в Ставрополь. А там уж он действительно оторвался от немцев — с тех пор прошло двадцать лет…

Вот что рассказывает Еськов — бывший черноморский матрос, под тельняшкой у которого — эсэсовская татуировка, «группа крови»…

Еськов уже двадцать лет в заключении. В 1953 году он, отсидев на Колыме десять лет{1}, вышел на волю и остался там же, на Колыме, работать

по вольному найму, потому что «Колыма мне второй родиной стала, все там моими руками построено: каждый дом [85] знаю. Я ведь приехал туда, когда еще одни палатки стояли».

Была у него жена, она тоже работала по вольному найму, из бывших заключенных.

Однажды он с приятелями праздновал — пели песни, выпивали. Вдруг прибегает жена, говорит, что к ней пристал пьяный, стоит в тамбуре (в сенях), ждет, пока откроется дверь. Еськов снял со стены ружье, вышел в тамбур и выстрелил человеку в живот.

Так Еськову за убийство дали еще десять лет.

И вот он говорит:

— Я курей имел на Колыме, а убить курицу просил соседа.

Он говорит об этом не для «характеристики», а так, чуть пожимая плечами, иронически, грустно улыбаясь, как бы удивляясь несуразности жизни.

Спрашиваю, вспоминал ли он службу в зондеркоманде, и он угрюмо отвечает:

— Как не вспоминать? Вот и рвался на самую тяжелую работу, чтоб не вспоминать. Посмотрите мое дело: плотник у меня самая легкая должность, а так — разведчик, шурфовщик.

Он говорит, что не сомневается в том, что его расстреляют, и мрачно философствует:

— Смерть-то — она не страшна, страшен путь к смерти. Мне уже все равно. В двадцать лет, как попал на войну, — жизнь кончилась. Если даже не расстреляют, дадут пятнадцать лет, разве я выдержу — тридцать лет в тюрьме?..

Я слушаю его спокойный, густой голос, смотрю на улыбку его аккуратных губ и понимаю, что Еськов сейчас совершенно уверен в обратном, то есть убежден в том, что все у него обойдется и что своей [66] горечью, грустным своим разговором он уже вызвал к себе ту спасительную «*симпатию* », которая подчас может оказаться сильнее фактов…

Его уводят, а на другой день я читаю его стихи, которые он написал в камере, карандашом на трех бумажных полосках:

ЭТО НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ!

Двадцать лет минуло с тех пор,
Но разве можно такое забыть?
Зверский!
Кровавый!
Фашистский террор!
Правду нельзя ведь убить!
Это было в сорок втором!
Город стонал под чужим сапогом,
Город тонул в крови и слезах,
Город задохся в чужих руках.
В нашем крае тогда помещалась
Шайка убийц,
которая звалась

Зондеркоманда СС десять «а»,
«Службу смерти» она несла.
Край наш постигла беда.
Землю топтала злая орда,
Грабила, вешала, била, пытала.
Старых отцов, матерей убивала.
Даже детей...
- живьем зарывала.
Страшной команда эта была.
В зверствах своих она превзошла
Древних татар,
экзекуторов Рима,
Пилата — царя Ирусалима.
Трудно мне эти строки писать,
Но про такое нельзя забывать.
Да разве можно те годы забыть?
Разве можно опять допустить?
Чтобы недобитый зверь пришел,
Чтобы он снова войною пошел?
Чтоб не воскресла черная сила.
Нет!!! -
говорят народы мира.
Нет!!! говорят они войне.
Мир будет вечно на земле!

Он передает эти бумажки следователю и удовлетворенно закуривает, потому что верит в силу фраз, в то, что, какие бы ни натворил он дела, не дело важно, а слово, правильно сказанное.

И опять я слышу его густой, грустный голос:

— Напишу, читаю, а у самого слезы текут от собственной писанины... Жизни-то я не знаю — все по книгам... [88]

Жирухин

Характеристика

ЖИРУХИН Николай Павлович работает в средней школе г. Новороссийска с 1. IX, 1959 г. До этого времени он работал в семилетней школе нашего города. Первый год он работал преподавателем труда и имел немного уроков немецкого языка, в с 1960 года полностью переключился на преподавание этого предмета, т. к. перешел на 3-й курс педагогического института, где он учился заочно и который окончил в 1962 году.

За период работы в средней школе ЖИРУХИН Н. П. проявил себя умелым учителем. На его уроках всегда соблюдается дисциплина и порядок, он находит средства для владения класса своей требовательностью к учащимся. Знания, которые он дает детям, удовлетворительны. К работе относится добросовестно, дисциплинирован. До начала этого учебного года в общественной жизни школы участия не принимал, объясняя это тем, что занят учебой. В октябре 1962 года избран в состав местного комитета профсоюза учителей школы…

Как классный руководитель, умело руководит коллективом учащихся своего класса, но выделить в этом отношении его нельзя — средний классный руководитель.
4. 12. 1962 г.
ДИРЕКТОР (подпись)

— …Какое у вас образование, Жирухин?

— Высшее.

— А среднее есть?

— Есть и среднее.

— Это ваш аттестат?

— Мой.

— Вы по нему в институт поступали?

— По нему.

— И вы утверждаете, что этот аттестат принадлежит вам?

— Да.

— Кто же вам его выдал?

— Одна преподавательница…

— При каких обстоятельствах?

— В 1954 году я работал преподавателем немецкого языка в школе № 28 свиносовхоза «Красноармеец», там была учительница русского языка и литературы. Я попросил у нее аттестат об окончании педучилища, и она мне его отдала.

— Так это был ее аттестат?

— Ее.

— А стал ваш?

— Выходит, так.

— Каким же образом чужой документ стал вдруг вашим?

— Я же говорил, что мне его отдала та учительница. Он был ей больше не нужен, и я переправил его на себя.

— Как это понимать — «переправил»?

— Сначала я резинкой подчистил, а потом хлоркой вытравил ее фамилию, имя и отчество и тушью вписал данные о себе.

— На что вам понадобился аттестат? [90]

— Чтобы у меня был какой-либо документ о педагогическом образовании, поскольку я уже работал учителем, имел большой практический навык и мои знания примерно соответствовали оценкам, выставленным в аттестате. Кроме того, я хотел повысить свое образование.

— Следовательно, вы поступили в институт по подложному документу?

— Нет.

— Как же нет? Ведь этот аттестат принадлежал не вам, на нем стояла не ваша фамилия, а другого человека. Вы берете, выводите хлоркой его фамилию и вписываете свою. Что же это, если не подлог?

— Но аттестат был мне отдан добровольно, и я все равно уже работал учителем, и мои знания соответствовали…

— Послушайте, Жирухин. Вы взрослый человек, неужели вы не знаете, как все это называется?

— Я знаю только, что работал честно и оценки эти мной не завышены. Можете кого угодно спросить.

— Хлорку-то где брали?

— В уборной…

…Жирухин сидит за прибитым к полу столиком для допрашиваемых, в синем, в красную полоску, помятом костюме, в ботинках без шнурков. Всего два месяца, как он арестован, но на его круглом и, наверно, еще недавно розовом, рыжем лице уже серый налет. Он плотен, тучноват, на вид ему года сорок два — сорок.

Арестовали его, после долгих сомнений и колебаний (он? не он?), в конце декабря.

По всем данным получалось, что это не тот Жирухин, который служил в зондеркоманде, да уж очень [91] настаивал на нем Скрипкин; почти на каждом допросе называл среди своих сослуживцев Жирухина Николая, моряка. И хотя внешность действительно, в основном, соответствовала описаниям Скрипкина, и Жирухин Николай Павлович, новороссийский учитель, тоже был в 41-м году моряком, в Краснодарском управлении КГБ сильно сомневались, нет ли тут какой-либо ошибки. «Тот» Жирухин, о котором рассказывал Скрипкин, дезертировал, совершил предательство в Новороссийске, в Новороссийске же вступил в зондеркоманду, мог запомниться многим местным жителям — *с* чего бы он тогда полез снова в Новороссийск, да и на такую заметную должность? И по документам военкомата, по военному билету никак не выходило, что это и есть «тот» Жирухин: всю войну, без перерыва, прослужил во флоте, имеет ранения, в плену не был. И год рождения у него 1918-й, а не 1920-й, как у «того».

Все же решили на всякий случай познакомиться с ним лично. Жирухин пришел:

— Чем могу быть полезен, товарищи? Я к вашим услугам…

Его стали расспрашивать о всякой всячине, повели разговор на общие темы, и Жирухину уже почудилось, что хотят ему оказать какое-то особое доверие, и он еще больше расхрабрился, сказал ни с того ни с сего:

— Если от меня чего требуется, то я в любую минуту…

И поглядел на часы, поскольку беседа затягивалась, а сути он все никак уловить не мог.

И тогда следователь вдруг спросил, что он делал, находясь у немцев в плену, и Жирухин незаметно, [92] как он полагал, а на самом деле очень заметно сглотнул слюну, поперхнулся, а потом, усмехнувшись, с ленцой произнес:

— А, это вы о плене? Да, был такой случай. Действительно, я какое-то время находился в плену, но за это, кажется, теперь никого не преследуют, я полагаю…

Стали дальше уточнять: почему в военном билете нет соответствующей записи? И опять Жирухин усмехнулся:

— Да я ее хлоркой вывел и вписал другие данные. Но для чего вы всем этим интересуетесь? Прошла амнистия, и я автоматически не подлежу никакой ответственности за эту подчистку. А понять меня вы должны. Сами знаете, какое отношение было к нашему брату — военнопленному…

— Но вот у нас имеются другие сведения, Николай Павлович: что были вы не военнопленным, а служили у немцев в СС, в зондеркоманде СС 10-а. Слышали вы о такой команде?

И тут Жирухин совершенно спокойно, глазом не моргнув, ответил:

— Правильно. Я служил в этой команде конвоиром, врать я не люблю. Но и это преступление, как вам известно, списано с меня амнистией. Или, может быть, Указ правительства уже отменен?

Даже привыкший ко всему следователь оторопел от такой наглости.

Жирухин вновь поглядел на часы и уже раздраженно сказал:

— Долго вы меня тут будете задерживать? Я опоздаю на поезд, а у меня завтра детский утренник. Елка. [93]

— С елкой вам придется пока подождать, Николай Павлович, потому что служили вы не просто конвоиром, а карателем, убивали советских людей…

Тут Жирухин впервые потерял самообладание, хлопнул ладонью по столу.

— Вы эти методы оставьте! Я на вас жаловаться буду! Завтра же *пойду* в горком…

Он искоса взглянул на следователя, чтобы проверить, как воспринимается это слово «*пойду* »: нет ли на лице следователя усмешки,- мол, «никуда ты уже *не пойдешь* , потому что мы тебя арестуем». И если бы он заметил такую усмешку, ему, возможно, стало бы легче — хотя бы от определенности, от сознания того, что участь его уже решена. Но следователь ничего не ответил, даже пожал плечами, как бы говоря: «Можете *идти* куда угодно, это ваше дело, а мое дело — во всем разобраться». И Жирухин, слегка успокоившись, усмотрев «*шансик* », вновь осмелел:

— Какие у вас доказательства? Что я делал в зондеркоманде, могут знать только два человека: командир взвода Федоров и помкомвзвода Скрипкин — мои непосредственные начальники. Их и спрашивайте…

Он с вызовом посмотрел на следователя, так как хорошо знал, что Федоров убит, а Скрипкин еще в 1945 году сбежал к американцам.

Следователь нажал на кнопку звонка.

Несколько минут оба молчали, наконец дверь отворилась, и в кабинет ввели Скрипкина.

— Что ж, Николай Павлович, мы удовлетворили вашу просьбу, — сказал следователь.- Узнаёте этого человека? [94]

Жирухин побелел, но не растерялся, превозмог себя и ответил почти радостно, давая понять, что очень рад этой встрече, которая немедленно все прояснит и установит истину:

— Конечно, узнаю! Скрипкин…

Теперь он с нескрываемым любопытством смотрел на Скрипкина: «А ты каким образом здесь очутился?» — пытаясь в то же время угадать, какую по отношению к нему позицию Скрипкин сейчас займет и чего ему следует ждать от этой встречи. Но Скрипкин, обведя Жирухина тяжелым взглядом и не обращая больше на него никакого внимания, отрапортовал:

— Сидящий здесь человек — Жирухин Николай, с которым вместе я проходил службу в эсэсовских частях и который вместе со мной принимал непосредственное участие в злодейском истреблении ни в чем не повинных советских граждан…

С этой минуты Жирухин почувствовал, что идет ко дну, тонет, и вот уже два месяца он погружался все глубже, так что даже голос следователя доносился до него словно издалека, с поверхности…

…Жирухин был родом из-под Тихвина, имел образование «незаконченный лесотехникум», до призыва работал в пожарной охране, а с 1940 года по 1942-й служил «баталером», то есть писарем-кладовщиком, новороссийской гарнизонной гауптвахты. Из подразделения он исчез 8 сентября 1942 года — за день до вступления в Новороссийск немцев: был послан на склад за продуктами и не вернулся. Его сочли пропавшим без вести, но уже через некоторое время на гауптвахту, которая перебазировалась в Кабардинку и вместе с войсками вела оборонительные бои, [95] просочились из Новороссийска сведения о том, что «Колька Жирухин, писарь, служит у немцев в гестапо, ходит по домам и выявляет жен комсостава» и что, когда одна из этих опознанных Жирухиным женщин в отчаянии крикнула: «Ты же комсомолец!» — он ей в циничной форме ответил: «Я тебе покажу, какой я комсомолец!» — и сопроводил эти слова нецензурными ругательствами.

Так примерно было написано в донесении, которое начальник гауптвахты, старший лейтенант Васильев, послал тогда по дистанции. Васильев имел много неприятностей из-за Жирухина, но в конце концов отделался дисциплинарным взысканием «за потерю бдительности» и «плохое изучение личного состава». Васильев принял это взыскание как должное, хотя, по правде говоря, так и не мог понять, как ему следовало лучше изучать личный состав, в том числе и Жирухина, который в течение целого года спал с ним чуть ли не на одной койке, делился сокровенными мыслями и ни разу не проявлял каких-либо нездоровых или подозрительных настроений. Человеку в душу не заглянешь — поди угадай, что у него там творится. Жирухин казался исполнительным матросом, свои обязанности выполнял добросовестно, разве что был несколько хитроват, слишком уж смекалист и норовил иногда угодить начальству: скажем, попросишь его принести с кухни обед, так он тебе в котелок мяса наложит сверх всяких норм и еще водочки предложит достать. Но тут ничего особенного вроде и нет; все они, писаря, народ дошлый… Может, в город его не стоило отпускать? Но почему проявлять к человеку недоверие?

Словом, Жирухин подвел всех, и когда в 1943 году, [96] в феврале, была совершена легендарная десантная операция в Новороссийск, на Малую землю, Васильев приказал своим ребятам разыскать Жирухина и доставить его в подразделение живым или мертвым.

Но, конечно, никто Жирухина разыскать не мог: он был уже далеко от Новороссийска, и след его затерялся окончательно.

А личный состав гауптвахты, влившись в одну из действующих частей, продолжал под командованием старшего лейтенанта Васильева боевой путь…

С Жирухиным же произошло вот что.

8 сентября, получив со склада продукты, он решил навестить свою знакомую — Валентину, проживающую по улице Козлова, 62. Заехал к ней, посидели, выпили. На окраине шли бои, надо было торопиться, но Жирухин захмелел — сил не было подняться с постели.

На рассвете, когда проснулся, первая мысль была, что его могут накрыть патрули, взять как дезертира; представил себе лицо Васильева, трибунал. Он в ужасе вскочил, глянул в окно и обмер: по улице шли немецкие автоматчики…

И тут же его пронзило острое, самого его испугавшее чувство. Это было чувство освобождения от ответственности. Он как бы очутился за границей, где уже не действуют законы его страны и где с него полностью снимаются гражданские обязанности, до сегодняшнего дня определявшие всю его жизнь.

Эти фашистские автоматчики, шедшие сейчас по улице Козлова, одним своим присутствием здесь освобождали его от необходимости возвращаться в

часть, отчитываться перед Васильевым, продолжать службу или нести ответственность перед трибуналом. [97]

Еще не сознавая всего до конца, он внутренне принял от немцев эту новую, открывшуюся перед ним возможность. И в тот самый момент, когда он принял эту возможность и почувствовал мгновенное облегчение оттого, что с него снят *долг* , он стал предателем.

Жирухин отошел от окна, присел на кровать и, опустив голову, спросил Валентину:

— Что же теперь делать?

Начали прикидывать, соображать. У Валентины имелся раскулаченный дядя, это могло быть немцами учтено: как-никак «семья, пострадавшая от большевизма». Если же немцы «не учтут» и если правда все то, что о них пишут в газетах, то надо будет искать партизан или подпольщиков и устроиться к ним, а те уж примут Жирухина наверняка, поскольку он комсомолец и черноморский матрос…

…- Ну, так как же вы попали к немцам на службу?

— Неделю я скрывался у Валентины, не имел намерения служить немцам, а потом меня взяли в облаве и поместили в лагерь. А там — кошмарное положение, невозможная жизнь. Кормили один раз в день, спали на сырой земле. Помощи никто не оказывал. Тут ефрейтор пришел, стал проводить беседу: кто, мол, хочет поработать у немцев? И я согласился ввиду сильного истощения организма…

— Стали убивать людей?

— Почему убивать? Стрелял вместе со всеми, а убил ли кого — не знаю, лично не видел, чтоб я кого-нибудь убил.

— Вы что же, не участвовали в расстрелах?

— Участвовал, я не отказываюсь. [98]

— Как же вы участвовали, если никого не убивали?

— Почему никого? Там не разбирались — убил, не убил; приказано,- значит, идешь…

— Опишите, как происходил расстрел пятисот советских военнопленных в лагере Цемдолина. Помните этот эпизод?

— Очень хорошо помню.

— И что же?

— Ну, пришел офицер Николаус, немец. «Постройте, говорит, людей». Мы построили, повели. Привели за город, к противотанковым рвам. Там они разделись, обмундирование сняли…

— Как — добровольно раздевались и не понимали, зачем их привели?

— Почему же не понимали? Всё очень хорошо понимали…

— И не оказывали вам никакого сопротивления?

— Которые могли, те оказывали. А истощенные нет.

— А вы что же?

— Как что? Берешь, подталкиваешь к траншее и стреляешь. Потом дают приказ закопать. Берешь лопату, закидываешь. Барахло их, одежду ложишь в машину и возвращаешься в команду. Немец забирает барахло к себе в кладовку, а мы расходимся по своим комнатам. Кто отдыхает, кто чего. У каждого своя мысль…

Два месяца идет следствие — допросы, очные ставки.

Жирухину вспоминать прошлое тяжело и неловко. Что ни допрос — подмачивается его репутация, а он все же учитель: неудобно перед педагогическим коллективом, да и учащиеся что могут подумать?.. Потом он спохватывается; ах, все это лопнуло, полетело, ничего этого больше не будет — ни педагогического коллектива, ни учащихся, ни классного руководителя Николая Павловича, а останется лишь Колька Жирухин, каратель из зондеркоманды, и так будет всю жизнь. И как это так? Ему уже за сорок, он почти состарился, а вот — силой возвратили, загнали его назад, в молодость, и уже не выпускают, держат в 42-м году, в 43-м.

Он с трудом свыкается с этим *возвращением* , то и дело ему кажется, что он все еще учитель, и на Еськова и Скрипкина он смотрит с высоты своего «учительского положения».

Признания из него приходится вытягивать, долго ковыряться в каждом эпизоде, пробиваясь сквозь пласты лжи, отговорок, чепухи, покуда заступ допроса не стукнется об очередной труп или не отроет очередное мошенничество.

— …Вы в расстреле старшего политрука принимали участие?

— Принимал.

— Расскажите, как это произошло.

— Мы в Гайдук ездили, зашли в помещение. Я увидел человека в плаще, сильно опухшего, обмороженного. Немцы вокруг него. Мы его погрузили в машину, привезли в Новороссийск. Положили на пол у печки. Потом следователь Унру говорит: «Принеси воды». Я и принес…

— И все?

— Все.

— А с политруком что вы сделали?

— Расстреляли… [100]

Сидя в камере, Жирухин написал «собственноручные показания»: на многих страницах путано изложил свою историю, как из Новороссийска был переведен в Краснодар, оттуда вместе с немцами отступил на Украину — в Николаев, в Херсон и «*по прибытию* » в Херсон заболел («по всему телу высыпала *сып* »), затем некоторое время находился в «*Домбасе* », «*с Домбаса* »

вновь попал в Херсон, где «*за воровство* » был заключен немцами «*в тюрму* », но «*с тюрмы* » его вскоре освободили, и он уехал в «*Дюселдорф* », где охранял «*дюселдорвскую тюрму* », а под конец войны служил при берлинском полицей-президиуме, бежал к американцам, но был американцами передан на советский фильтрационный пункт, где работал писарем, «вел учет *репатруируемых* »…

Эта безграмотность заставила следствие заинтересоваться образованием Жирухина; подвергли графической экспертизе его аттестат, обнаружили подлог. Да и вся его послевоенная жизнь состояла из сплошной цепи мошеннических выходок, где было все: похищение и подделка фильтрационных бланков, взяткодательство, двоеженство, уклонение от уплаты алиментов, кража метрического свидетельства, фабрикация фальшивых справок… Несколько лет Жирухин разъезжал из города в город, заметая следы: то нигде не работал, торговал в Одессе на рынке камсой, то служил секретарем нарсуда в Вашковецком районе, фининспектором, физруком школы, в Татарии преподавал детям «труд», но грубо обошелся с учеником, был уволен, изготовил себе положительную характеристику и устроился в другую школу. Судьба вновь свела его с Валентиной, и в 1952 году он, [101] наконец, обосновался в Новороссийске, на той же улице Козлова, 62, где совершил когда-то предательство… Теперь все это, добытое следствием благодаря новейшим достижениям криминалистики, тщательному изучению документов, выездам в разные районы страны, опросам и сопоставлениям, выкладывают на стол перед Жирухиным, и он при каждом новом разоблачении вздрагивает и потом вновь приходит в себя.

— Зачем вы написали себе фальшивую характеристику?

— Чтобы остаться на преподавательской должности и честно работать.

— Эх, Жирухин! Как вы только смотрели в глаза своим ученикам? Неужели у вас не было угрызений совести?

— Почему не было? Было…

Моргая, он смотрит на молодого следователя, оформляющего протокол, и, улучив подходящий момент, спрашивает:

— А в колонии устроиться учителем можно? Нужны там преподаватели?

И ждет: если следователь ответит утвердительно, значит, допускает такую возможность, что Жирухин попадет в колонию, что не обязательно ему будет расстрел… [102]

Сухов

Сухов был ветфельдшером, — до встречи с ним я видел его двадцати — пятнадцатилетней давности карточку: мордастое, нагловатое лицо, ноздри раздуты, — кажется, он хочет сказать: «А в чем дело? У меня все в ажуре, можете проверить».

В те годы «*на*» него писали характеристику, слепой машинописный текст аттестации: «Проявил себя крабрым, мужественным, знающим свое дело… Морально устойчив… предан…»

В другой характеристике отмечено: «Требователен к себе… имеет связь с массами…»

Сухова ввели — я бы его никогда не узнал. Вошел согнутый старичок: заострившийся нос, мертвый подбородок, губы сведены страхом и старостью.

Уселся за «свой» столик, начал многословно, с хозяйственным смаком объяснять, как дело было, причмокивая, прикряхтывая, подмигивая, — «на откровенность могу сказать…».

Правда, «на откровенность» он [103] говорит не многое: служил в зондеркоманде, приходилось, конечно, работать на душегубке, может указать всех, кто с ним «работал»: «Я их всех *напереучет* знаю». Этот «переучет» — от хозяйственной жизни, оттого, что «требователен к себе». Сухов быстро врастал в любую среду, «выполнял», служил.

Он начинает рассказывать, потом быстро вянет, стихает; когда его подхлестывают вопросом, оживляется, иногда доходит до своеобразной патетики:

— Расстрел будет — расстрел приму, но не пошлю проклятий ни советской власти, ни советскому народу. А совершил преступление, — тут он рубит воздух рукой, — судите, чтобы другие не делали этого!..

Это не рисовка, хотя есть и она; тут еще и убежденность в том, что «так положено»: избавить его от суда — непорядок, он против непорядка («морально устойчив»).

Сухов многолетним опытом своим усвоил ряд истин, знает: тому, кто пострадал на работе, получил травму, — уважение, поблажка. При этом он почти забывает, на какой «работе» пострадал, и нажимает на «травму» и на то, что ему не оказывали «помощи». Жалуется:

— Я удушился в Ейске, хватил газу с душегубки, — обратился было к доктору Герцу, а мне взводный говорит: «Русским к немецким врачам обращаться нельзя».

Знает он и то, что выполняющих работу более грязную, тяжелую физически принято жалеть: происходит какое-то смещение понятий. Вот он говорит:

— На откровенность могу сказать — всегда в грязи, в помете, халатов не давали, рукавиц не давали… [104]

Кажется, еще немного — и он потребует компенсацию: за недоданную спецодежду — раз, за рукавицы — два, за мыло, которое должны были дать и не дали, — три…

«Обслуживание» душегубки он считает работой тяжелой, грязной и невыгодной. Смысл его рассказа в том, что он благодаря своей непрактичности и простофильству всегда попадал впросак, был «работягой», а не придуривался, как те ловкачи из его зондеркоманды, которые расстреливали себе, да и только. У него до сих пор не прошла зависть к тем, кто *нагружал* душегубку, и, следовательно, не пачкался в кале и в крови, а ему приходилось, в основном, разгружать.

На вопрос, что было *труднее* — нагружать или разгружать «машину», он, поняв мой вопрос «производственно» и почти обидевшись на меня, отвечает:

— Не знаете, что ли? Конечно, разгружать! *Они* (то есть погрузчики) в чистом ходили: погрузили — и до свидания! Грузить каждый может, а выгружать попробуй, в грязи весь…

При этом службу на душегубке он считает «смягчающим обстоятельством»:

— В Симферополе определяли, кто на что способен. Увидели, что я на расстрел не способный,- и сразу меня на душегубку…

О немцах он, как и большинство его сослуживцев, отзывается с ненавистью, с яростью.

Здесь, конечно, и обида на то, что «немцы втянули», но главным образом на их спесь и заносчивость.

— Они нас ненавидели, а я их ненавидел…

-- За что же? [105]

— Они нас за то, что мы — русские, а я их за то, что они — фашисты!

Тут вновь в нем пробуждается патетика, он сейчас — бывший ветфельдшер отдельного батальона связи, участник боев за Берлин, человек из той характеристики: «Проявил себя храбрым, мужественным…»

Для него в этом нет никакого противоречия, так же как в словах характеристики почти нет преувеличения. В январе 1943 года он отстал от немцев, в Цимлянской его настиг фронт, он попал в Особый отдел и там, по его словам, сообщил о своей службе на душегубке. Однако, как он рассказывает, «особист» от этой темы отмахивался, поверить не мог: «Ты мне чепуху городить брось, рассказывай, с каким заданием прибыл!» Кончилось же все дело тем, что его направили в штрафбат «до первой крови», он был ранен, восстановлен в звании старшего лейтенанта и действительно дошел до Берлина.

Сейчас он рассказывает о том, как «зубами» перегрызал пять рядов немецкой проволоки и как, оказавшись в Германии, искал своих начальников — Кристмана, Герца и шоферов душегубки Ганса и Фрица: «Знал бы, где они, порезал бы их, гадов, в Германии!» Он почти кричит, рубит рукой воздух и, хитро прищурив глазок, рассуждает, как бы ему надо было тогда действовать, чтобы «помочь следствию» в розыске немцев. При этом он, сетуя на свою тогдашнюю недогадливость, стучит пальцем по голове, извлекая какой-то деревянный звук.

На немцев ему есть за что обижаться. Он с увлечением их чернит, говорит об их коварстве и заносчивости. [106]

Я спрашиваю, объясняли ли ему немцы цели той или иной операции.

- Никогда! Об этим они именно скрывали, для чего и почему, не объясняли. В конце концов решил я: уйду от их к чертовой бабушке!..

Потом он снова стушевывается — начинается разгозор «за ейскую операцию».

Вообще он, пожалуй, из уважения к порядку («положено») и оттого, что уже приперт к стене, решил, махнув рукой, признаваться, и все же временами, тоже «для порядка» и оттого, что «в каждом деле хитрость нужна», в меру

врет, выдвигает обычную легенду о том, что кого-то спас от расстрела, каким-то партизанам помог, — все это проверяется и, как обычно, не подтверждается ничем. Он, обнаружив «провал», тоже особенно не спорит, не настаивает, «Это дело ваше, можете верить, можете — нет, а я-то хорошо помню…»

«За Ейск» он рассказывает нехотя, все же приходятся восстанавливать по деталям картину, начиная с того, как накануне они получили сухой паек — хлеб, консервы рыбные, маргарин — и поехали с Гансом и Фрицем в Ейск. Немцы сидели в кабине, он вместе «с Махном и Скрипкой» — внутри душегубки, но дверь была «открытая»…

Подъехали к дому. Герц, Тримборн и Юрьев ушли в канцелярию, вели «переговоры», а Сухов и другие каратели лежали на траве, ждали. Был серый теплый день, к ним подходили дети, спрашивали, что за машина, некоторые залезали в нее. А он лежал и думал, опять-таки недовольный тем, что хлопотное выпало задание: «Работа мне будет с этими детьми!»

Потом вышел Герц, началась загрузка. Он помнит, [107] как заведующая умоляла Герца — доказывала, что какую-то девочку надо оставить, она, мол, способная, пишет, рисует…

Задавал ли он себе и другим вопрос, зачем проводится эта акция?

Он:

— Я еще Скрипке говорю — что эти дети, кому они помешали? Какая тут политика?..

В машину он затолкал человек восемьдесят…

Как всегда после допроса, разговор заходит о «личном», о житье-бытье. Сухов рассказывает, что до ареста работал в Ростове, на бензоскладе, в военизированной охране. У него недавно умерла от рака жена, смерть ее он переживает тяжело — «сперва ходил как помешанный, да и сейчас еще не могу успокоиться»…

После Скрипкина, после Жирухина и Еськова он уже не произвел на меня «болевого впечатления» — только разница между ним и его фотографией несколько испугала. Я стал *привыкать* к тому, что внешне они похожи на обыкновенных людей и что злодейство было для них службой, этапом биографии… [108]

Разговор с Вальтером Биркампом

…Разыскивается по списку военных преступников, как участник и организатор массового истребления гражданских лиц и советских военнопленных на территории Ростовской области, Краснодарского края, Ставропольского края, Украинской ССР, Белорусской ССР, Польской Народной Республики

БИРКАМП Вальтер,

генерал СС, начальник эйнзацгруппы «Д».

* * *

БИРКАМП Вальтер, род. 17. 12. 1901 г. — в Гамбурге.

Родители :
Отец — Эмиль Герман Генрих Биркамп, главный бухгалтер.
Мать — Иоганна София Луиза, урожд. Штёвер, евангел. лютеранка.

Сыновья :
Хорст — род. 30. 7. 1930 г.
Вольф — род. 17. 5. 1933 г.

Член НСДАП с 1 декабря 1933 г. № партийного билета — 1408449. В СА — с 1 ноября 1933 г.

1924–1925 гг. — участник национал-социалистского освободительного движения.

В масонские ложи и масонские организации не входил.

Арийское происхождение его и супруги — *подтверждается.* [109]

1-й юридический экзамен сдал 10. 12. 1924 г. с оценкой — «вполне удовлетворительно».
Государственный экзамен сдал 28. 4. 1928 г. с оценкой — «удовлетворительно».

1. 1. 1925 г. — 31. 12. 27 г. — Гамбургский ганзейский суд — секретарь суда.
16. 5. 1928–31. 12. 1930 г. — Прокуратура г. Гамбурга — асессор.
1. 1. 1931–15. 9. 33 г. — Гамбургский административный суд — асессор.
16. 9. 33–29. 7. 37 г. — Прокурор Гамбурга.
1937 г. — 1942 г. - Начальник криминальной полиции Гамбурга, старший правительственный советник.
1942 г. — Действующая армия, Восточный фронт. Начальник эйнзацгруппы «Д», генерал СС.

* * *

…БИРКАМП Вальтер, умер в 1945 г. в городе Шарбойтц и похоронен в Тиммердорферштрандте. Факт его смерти зарегистрирован в книге умерших в Управлении Гражданского состояния в Глешендорфе…

* * *

…По заслуживающим доверия данным, БИРКАМП Вальтер, 1901 г., уроженец гор. Гамбурга, жив и в настоящее время скрывается под вымышленной фамилией в ФРГ.

Итак, генерал Вальтер Биркамп до сих пор не разыскан, он — по одним сведениям — умер, а по другим (более достоверным) — жив, и на кладбище в Тиммердорферштрандте покоятся не его кости.

Предположим, однако, что генерал Биркамп жив и не разыскан, и это обстоятельство меня очень озадачивает, так как не могу же я обойтись без генерала Биркампа, который возглавлял «эйнзацгруппу «Д» — то есть ту зону, где происходит действие всей моей книги.

В ведении генерала Биркампа были Ростов, и Таганрог, и Ейск, и Краснодар. Сохранились документы, которые Биркамп составлял: месячная сводка — «с [110] 16 ноября по 15 декабря расстреляно 75881 человек»; двухнедельные отчеты — «с 1.III.42 по 15.III.42 — евреев — 678, коммунистов — 359, цыган — 810… С 15.III.42 по 30.III.42 — евреев — 588, коммунистов — 405, цыган — 261»; обнаружена телеграмма — «меры к выявлению лиц, *уклонившихся от расстрела* , принимаются»; найдено также предписание, которое штаб 11-й армии направил генералу Биркампу, — просьбу закончить «массовую акцию» к рождеству, чтобы не омрачать праздник, «*для ускорения акции предоставляем в ваше распоряжение газолин, грузовики и людской персонал* »…

Но где найти самого генерала Биркампа? В Западной Германии я заглядывал в телефонные справочники, спрашивал о нем журналистов. Никто его на видел, не знает. И все же мой «разговор» с Биркампом состоялся, и я привожу его здесь в том виде, в каком он сложился в моем воображении.

Мне почти не приходилось фантазировать: достаточно было вспомнить разговоры с некоторыми западногерманскими собеседниками, перечитать западногерманские газеты, материалы судебных процессов в ФРГ, вникнуть в характер обвинения и защиты, чтобы передо мной возник живой Биркамп, неразоружившийся нацист, который и сегодня представляет не меньшую опасность, чем в годы, когда он командовал своей эйнзацгруппой.

* * *

— …Вы должны понять меня правильно — легче всего осуждать, клеймить, тем более сейчас, когда это «клеймение» не стоит вам никакого риска… [111] Извините, не могу отказать себе в удовольствии: хочу представить себе, как бы вы разговаривали со мной году в сорок втором, сорок третьем… Вас привели бы ко мне в полуобморочном состоянии, вы знали бы, что вас ждет смерть, и, может быть (я допускаю это!), приготовились бы к предсмертной тираде, поскольку терять вам все равно уже нечего и вы захотели бы уйти из жизни эффектно, с достоинством (в вашем понимании этого слова) — ну, допустим, решились бы сказать мне напоследок какую-нибудь гадость. Но эффекты на меня не действуют, — что значат все эти предсмертные выкрики и что они могут изменить в вашем или в моем положении? Вас расстреляют или повесят, а жизнь пойдет своим чередом, вне зависимости от того, покинули вы ее «с честью» или униженно молили о пощаде. Люди бесконечно наивны — я убеждался в этом не раз, они придают слишком большое значение словам, забывая о том, что только конкретные действия могут принести пользу…

Так вот, в Россию я прибыл для того, чтобы действовать. Если вам угодно, я готов признать, что действовали мы во многом неправильно, чересчур прямолинейно, глупо. Глупо именно потому, что не учли того значения, которое люди придают словам, — просто взяли и отбросили все эти словесные побрякушки: «вера», «добро», «справедливость», «свобода», «любовь», «демократия», — ах, таких слов я могу набрать сколько угодно. Мы не учли, что от побрякушек людей надо отучать постепенно, а не сразу, так

как подавляющее большинство человечества еще не доросло до того, чтобы обходиться без декламации. Теперь я убежден, что мы достигли бы лучших [112] результатов, если бы почаще прибегали к этим испытанным, доступным примитивному человеческому пониманию *терминам.*

Человек непременно нуждается в словах: он оправдает любое преступление (а иной раз и возведет его в добродетель) и даже с энтузиазмом подставит спину плетке, если вы назовете вещи не своими именами, а прямо противоположно их смыслу. Мы же во всеуслышание заявили, что совесть в политике — химера, и откровенно сказали: мы действуем *так* не ради «добра», не во имя бога и не во имя абстрактного понятия «человек», а сообразуясь со своими интересами. Вот в чем состояла наша *особенность* , которую нам не простили и которая навлекла на нас всемирную ненависть{2}.

Дело в непривычности и необычности наших методов, которые не укладываются в консервативное человеческое сознание. Нас постигла участь новаторов, не понятых современниками. Всех, например, ужаснули газовые автомобили. Подумать только — отработанным автомобильным газом нацисты умерщвляют людей! Это считается чудовищным злодейством, хотя, как известно, смерть в газовых автомобилях [113] наступает через 10–15 минут после подключения шланга и, следовательно, длительность процесса является ничтожной. Подумайте, скольких людей мы избавили от мучительных переживаний, которые человек испытывает, когда его ведут на расстрел или на виселицу.

Гуманизм конкретен, у Мольтке есть слова, повторенные Гитлером в «Майн кампф»:

«Самое гуманное — как можно быстрее расправиться с врагом. Чем быстрее мы с ним покончим, тем меньше будут его мучения».

В газовом автомобиле смерть настигает человека внезапно, промежуток между осознанием смерти и самой смертью длится мгновение. Это было в буквальном смысле благом, благом для обеих сторон: для тех, кого казнят, и для исполнителей казни, которых мы уберегали от растлевающего зрелища смерти и человеческих мук. Небольшая резиновая трубка, гофрированный шланг, равнодушно выполняет работу, на которую потребовалось бы выделить добрый десяток солдат, подвергая их жестоким нравственным терзаниям{3}. [112]

Из-за чего же тогда столько шуму? А опять-таки из-за того, что газовый автомобиль мы применили первыми, не дав человечеству как следует привыкнуть к этому нововведению и не дожидаясь, пока так называемые душегубки прочно войдут в обиход, подобно тому как вошли паровой двигатель, поезд, беспроволочный телеграф, электричество, которые ведь тоже когда-то считались «порождением дьявола»!..

Или возьмите лагеря смерти. «Как так? — говорят наши обвинители.- Четыре миллиона человек погибло в Освенциме, старики, женщины, дети!..» При этом умалчивают, что эти четыре миллиона были уничтожены в течение четырех лет, что означает (займемся арифметикой) — по миллиону в год, по 90 тысяч человек в месяц, по 3600 человек в сутки, по 125 человек в час. Но во время одного только налета на Гамбург за *два часа* погибло 30 тысяч человек,

среди которых также были женщины, старики и дети! Что же получается? Убивать стариков и детей бомбами, заживо хоронить их под кирпичными развалинами, поливать горящим фосфором — можно, дозволено, это, так сказать, хотя и неприятно, но все же куда ни шло, а производить ликвидацию в лагерном крематории или в газовой камере — значит совершать преступление! Но ведь все это опять-таки игра в термины, фетишизация слов: «газовая камера» — плохо, «бомбардировка», «налет на город» — приемлемо.

Нет, мы ничем не хуже других, и если мы в чем и виноваты, то лишь в том, что проиграли войну {4}. [115]

Говорят о морали, о нарушении договоров, об агрессии. Но скажите, пожалуйста, когда, какой политик руководствовался в своих действиях соображениями морали, а не элементарной целесообразностью? Иначе в мире давно бы воцарились неразбериха и хаос!

При всем этом я вовсе не собираюсь полностью оправдывать газовые камеры, крематории и массовые расстрелы, то есть те самые «ужасы», которыми вот уже двадцать с лишним лет кормятся писатели, публицисты и создатели кинофильмов. Между прочим, интересно, что делали бы эти господа, если бы не было нас? Некоторые на описании гестаповских ужасов нажили целые состояния… Так вот, я повторяю, что сейчас, по прошествии стольких лет, я считаю ряд наших мероприятий излишними, если на абсурдными.

Беда в том, что мы слишком спешили и пытались за несколько месяцев решить проблемы, которые требовали десятилетий. Возьмем для примера уничтожение евреев — шаг, который нам обошелся особенно [116] дорого. Должен сказать, что, задумывая решение еврейского вопроса, мы вовсе не предполагали, что дело обязательно примет такой оборот и какого-нибудь старика сапожника из Вильно придется тащить в газовый автомобиль.

Впрочем, поверьте, что лично я не испытывал к евреям никакой биологической неприязни. Могу признаться: в детстве я учился в одной школе с еврейскими детьми, а у моего отца был приятель еврей, с которым он по вечерам играл в бридж. Этот еврей сажал меня к себе на колени и рассказывел сказку про волка и семерык козлят.

Дело, стало быть, не в личной ненависти, а опять-таки в целесообразности. Антисемитизм должен был сплотить нацию, поднять ее дух, устранить классовые противоречия. Мы говорили рабочим: евреи — капиталисты, все немецкое золото в еврейских руках! Мы говорили капиталистам: все евреи — марксисты, они против частной собственности! Евреям не повезло: они оказались объектом тренировки. Для того чтобы впоследствии *устранить* русских, поляков, французов, миллионные человеческие массы, нужно было с кого-то начать. На ненависти к евреям проверялась стойкость нации, чувство расового превосходства, умение *подавлять.*

Вот — вкратце — некоторые причины предусмотренных нами мер, которые поначалу сводились к изъятию еврейского имущества и к вытеснению евреев из политической, культурной и хозяйственной жизни внутри Германии. Позже возник замысел выдворить их за пределы Европы, а потом… Черт знает, как это все потом произошло! Увлеклись, захотели

покончить с проблемой одним ударом, без [117] проволочек, раз и навсегда. А что получилось? Весь мир ужаснулся, узнав о наших мероприятиях, от которых, в конечном счете, выиграли опять-таки евреи. Теперь они окружены ореолом мученичества! Между тем все это можно было сделать разумнее, без применения крайних средств, без перехлестов, а главное — не сразу{5}.

Известной ошибкой было наше вторжение в Россию — в 41-м году. Здесь нас вновь подвела [118] торопливость. Скорей всего, правильней было бы начать русскую кампанию после завершения разгрома Англии, хотя, вообще-то говоря, Восточный поход, ввиду необъятных российских пространств и суровости климата, был предприятием чрезвычайно рискованным. Начав оккупацию России, мы в нашей оккупационной политике пренебрегли разумными советами кое-каких экспертов, которые предлагали шире привлекать население к сотрудничеству с нами.

Вступая в русские города и деревни, мы начинали обычно с изъятий, конфискаций, строжайших распоряжений комендантского порядка и т. д., вместо того чтобы наряду с этими мероприятиями предоставить населению некоторые льготы, создавать касту привилегированных «активистов» — последнее обстоятельство могло иметь особо положительное значение. Можно было даже пойти на передачу отдельных заводов и фабрик в руки тех русских, которые проявили особую приверженность германскому новому порядку. Все это не исключало возможности с течением времени путем частных распоряжений аннулировать эти привилегии, однако на первых порах поощрительные меры принесли бы пользу.

Мы же отождествляли два этих понятия — «русский» и «коммунист», чем косвенно способствовали укреплению единства русского народа, сцементированного ненавистью к нам{6}. [119]

Вы видите, я объективен в оценке наших заблуждений, но обо всем этом легко рассуждать сейчас, когда позади — горькие уроки прошлого, опыт, накопленный ценой поражений и ошибок. Тогда у нас не было времени для размышлений. У нас были горячие головы и пылкие, молодые сердца, перед нами открывались захватывающие дух перспективы. Мы говорили себе: «Всё или ничего!» — и отвечали: «Всё! Только всё!..»

Мы прямо сказали: равенство между людьми и народами — вздор, мы — господа, вы — рабы, исходите отныне из этой аксиомы, иначе мы вас ликвидируем. Тех, кто принимал этот тезис или не сопротивлялся ему, мы не трогали. Называют количество уничтоженных нами людей, назовите лучше количество *неуничтоженных* !

Но для того чтобы служить Германии и тем самым обрести право на жизнь, нужно было обладать определенной суммой физических качеств, умением и способностью что-то производить, делать: мы не собирались содержать бесполезных нахлебников и делиться плодами своего труда с теми, кто не в состоянии держать в руках хотя бы лопату.

Неужели я отниму кусок хлеба у немецкого солдата, чтобы накормить в Таганроге какую-нибудь русскую старуху, не способную ни к какому полезному труду?

Что же мне делать? Отдать ей свой хлеб — бессмысленно, заставить ее голодать — бесчеловечно. Есть единственно разумный выход: ликвидировать

эту старуху, проведя ликвидацию как можно быстрее и гуманнее. Об этом я вам уже говорил…

Вы, наверно, слышали об акции, проведенной летом 43-го года в Таганроге, когда мы за несколько часов, под видом эвакуации, очистили город от многодетных семей, больных, престарелых и неработающих. А детский дом в Ейске!..

В нашей убежденности, что мы избавляем себя от балласта, одно из объяснений того хладнокровия, с которым мы проводили массовые акции, кажущиеся вам фантастическими. Какие, однако, эмоции испытывает, например, санитар-дезинфектор, выводящий крыс или тараканов? Какими чувствами одержим садовник, отсекающий от дерева зараженную ветвь?..

Кстати, об убийстве… Видите ли, убийца, по существу, сидит в каждом человеке. Если быть совершенно [122] откровенным, нет такого человека, который хотя бы раз не испытывал желания убить своего ближнего. Многие не стали убийцами только из трусости. Эта потребность к убийству является, пожалуй, здоровым началом, признаком того, что человек отстаивает свое право на жизнь и достоинство путем активных действий. Однако так называемая цивилизация с присущим ей ханжеством подавляла эту естественную потребность, превращала ее в нечто запретное, мельчила ее. Убийство приобрело вульгарно-бытовой характер, опасный для общественного порядка. Проповедуя унылое «не убий», ханжеская цивилизация в то же время оправдывала убийство из ревности (Отелло), убийство из ложного понимания чести (дуэль), то есть направляла исконную человеческую потребность по ненужному и бессмысленному руслу.

Мы же впервые рационализировали это самой природой данное человеку качество, поставили его на службу нашим идеям и тем самым значительно сузили возможность для стихийного, неорганизованного убийства, как разнузданной прихоти индивидуума. Никто не имеет права убивать по собственному желанию или выбору; зато каждый имеет возможность удовлетворить свою потребность в установленных нами рамках.

Была бы у нас атомная бомба! Я часто думаю о том, как нам ужасно не повезло: атомное оружие — вот чего недоставало Германии! Циклон «Б», фаустпатроны, фугасные снаряды, «пантеры» и «фердинанды» — вся эта кустарщина не соответствовала грандиозности наших планов. Могут ли сравниться тысячи газовых печей хотя бы с одной ракетой, снабженной ядерной боеголовкой? Пусть об этом помнят те, кто [123] пришел нам на смену: бундесвер нужно обручить с ядерной техникой — иначе идея мирового владычества останется всего лишь прекраснодушной мечтой, рождественской сказкой!

Сейчас нашим продолжателям намного легче, чем нам: ядерный век открывает тысячи новых возможностей. А мы?.. «Я родился слишком рано»,- поется в старинной немецкой песне, и горькие эти слова я могу отнести к самому себе. Кто знает, не пожалеют ли наши потомки, что они родились слишком поздно?..

Во всяком случае, немецкий народ жестоко расплачивается за это до сих пор. Дело вовсе не в том, что мы потерпели военное поражение, потеряли миллионы убитых, что страна оказалась расколотой, что отторгнуты

территории, добытые нами в тяжелой борьбе. Со всем этим еще можно примириться. Есть худшее наказание. В наши дни, когда на игральном столе — огромные сферы влияния: страны и континенты, весь земной шар и даже космическое пространство, мы вынуждены довольствоваться крохотными ставками, играть «по маленькой», претендуя всего лишь на какой-нибудь Западный Берлин или на жалкие границы 1937 года. И это мы, которые владели территорией от Эль-Аламейна до Волги!

И все же не это главное. Даже не *это* ! Главное наказание состоит в том, что, делая свои крохотные ставки, высказывая свои крохотные претензии, мы вынуждены говорить с вами на вашем же языке, пользоваться вашей фразеологией, строить из себя гуманистов, демократов, христиан, миротворцев, раскаявшихся грешников и антифашистов.

Вот в чем позор, вот в чем обида, которую мы не простим и которую когда-нибудь вам припомним!.. [124]

Поверьте мне: многие мои сограждане думают именно так, но никто, кроме меня, не выскажет вам всего этого вслух. Да и я это делаю только потому, что вы никогда не сможете доказать, что наш разговор имел место в действительности. Ведь вы даже не знаете, где я нахожусь, и все, что вы здесь записали, вам только померещилось, после того, как вы начитались всяких мемуаров, дневников, судебных материалов, архивных бумаг. Разве Биркамп говорил что-нибудь подобное? Да и где он, Биркамп? Пропал без вести, да так и не обнаружен в течение всех этих лет. Может быть, он уже давно умер?

А я жив. И не собираюсь умирать. Я еще пригожусь — многие нуждаются в моем опыте и в моих услугах.

Конечно, может случиться и другое — меня продадут, откажутся от меня, как от ненужной и отыгранной фигуры, на радость дуракам газетчикам и «общественному мнению». Вот будет сенсация! Биркамп пойман! Биркамп перед судом! Справедливость торжествует!

Поймут ли они, что старого Биркампа выдали для того, чтобы он, стоя перед судом, отвлекал ваше внимание от новых биркампов, которые, упрятав меня в тюрьму и учтя мои ошибки, доведут до конца начатую мной работу?

И если это произойдет, если меня выдадут и мне придется исполнять роль подсудимого, я буду говорить со своими судьями совсем не так, квк сегодня говорю с вами.

Я подойду к микрофону и скажу вот что… [125]

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ВАЛЬТЕРА БИРКАМПА,

ПРОИЗНЕСЕННОЕ ИМ НА ПРОЦЕССЕ В ГОРОДЕ… В 19… ГОДУ

Господа судьи!

…лет прошло с того дня, когда смолкли последние залпы второй мировой войны, а человечество все еще пытается осмыслить существо всемирной трагедии, осознать ее последствия и полно решимости до конца рассчитаться с теми, кто вверг его в пучину неслыханных страданий. Да это и неудивительно. Никогда еще история цивилизации не знала такого глумления над самыми основами человеческой нравственности, над элементарными нормами права и совести. Такие освященные веками понятия, как

доброта, милосердие, справедливость, терпимость, уважение людей друг к другу, оказались попранными, втоптанными в грязь и залитыми кровью.

И если сегодня исцеленное от своих недугов и пробудившееся к разумной жизни человечество все еще не в состоянии забыть своих вчерашних мучителей, то какова же должна быть мера негодования со стороны того, кто волей судьбы сам оказался на службе у этой зловещей машины? Что должен испытывать тот, чьим доверием к вышестоящим, верностью долгу и любовью к родине злоупотребили во имя самых чудовищных и преступных целей?

Трагична судьба человека, павшего от рук палачей, однако участь его смягчается хотя бы тем, что он уходил из жизни в сознании своей правоты, преисполненный веры в благородную память потомков. Но не является ли во сто крат более трагической участь невольного пособника зла и не подходит ли в большей степени слово «жертва» к тому, кто оказался в плену трагических заблуждений и, обманутый [126] своими начальниками, вынужден был действовать противоположно своим истинным намерениям и целям?

Сейчас, по прошествии … лет, я со всей откровенностью могу сказать, что отношусь к числу этой, наиболее трагической, категории жертв нацистского варварства. Нет, не страх за свою жизнь, не боязнь ответственности, а глубокое чувство стыда заставляло меня скрываться от людского правосудия в предвидении неизбежности предстать перед Высшим Судьей и в полной готовности держать перед Ним ответ за свои деяния, которые могут рассматриваться лишь как человеческая трагедия, а не как уголовное преступление потому, что с точки зрения человеческих законов мои поступки не могут быть названы ни преступными, ни безнравственными.

Как документально установлено, я вступил в должность начальника эйнзацгруппы «Д» в июне 1942 года, сменив на этом посту генерала Отто Олендорфа. Таким образом, к тому времени, когда я прибыл на Восточный фронт, основные акции в зоне действий моей группы были закончены. Ликвидация евреев, цыган, а также коммунистических и антигерманских элементов в Крыму, в Мариуполе и Таганроге происходила еще в те времена, когда я занимал должность начальника криминальной полиции Гамбурга, и, таким образом, никак не может быть поставлена мне в вину. Генерал Олендорф создал настолько совершенную и четкую машину уничтожения людей, настолько детально разработал самую технику ликвидации, что мне уже почти не приходилось вмешиваться в деятельность зондеркоманд и отдавать какие-либо дополнительные приказы. Это может прозвучать сейчас горькой иронией, но, на мое счастье, в наследство [127] от Олендорфа мне досталось прекрасно организованное хозяйство.

Все шло как бы по инерции, по уже готовым и выработанным Олендорфом образцам. Так, проводя очистительные акции в Ростове, Новороссийске, Краснодаре, Ставрополе, соответствующие зондеркоманды даже не обращались к руководству эйнзацгруппы за инструкциями: они попросту не нуждались в моих указаниях, так как все было

разработано заранее, и обычно меня ставили в известность уже после того, как та или иная операция была завершена. Помню, что среди моих ближайших сотрудников даже высказывалось недовольство по этому поводу. Некоторые сетовали на то, что нам фактически отведена роль регистраторов и что начальники зондеркоманд проявляют слишком большую самостоятельность. Я располагал также информацией о том, что ряд офицеров собирался обратиться к рейхсфюреру СС Гиммлеру с просьбой отозвать «регистратора Биркампа» и вернуть им «старого Оле» (так называли между собой Олендорфа).

Между тем обвинение делает меня ответственным чуть ли не за все операции, которые были осуществлены в зоне действия возглавляемой мной группы, ссылаясь при этом на тот высокий пост, который я занимал. Но ведь это обстоятельство доказывает как раз обратное! Именно в силу своего высокого служебного положения я не вникал в подробности повседневной работы отдельных карательных команд и лишь следил за выполнением общих установок. Так, я совершенно не был осведомлен, в чем конкретно выражалось так называемое «очищение» от коммунистов, евреев и других лиц. Получая донесения с мест, [128] я полагал, что речь идет о переселении или направлении на работы в специальные лагеря, расположенные за пределами моей зоны, — например, в Освенцим, Бухенвальд, на сборные пункты, в транзитные гетто и пр.

Только после войны из газетных сообщений о судебных процессах я узнал о том, что под видом переселения проводились массовые экзекуции.

Было бы, конечно, несправедливым утверждать, что я вовсе ничего не знал о чинимых жестокостях. Там, где это было возможным, я старался смягчить участь населения и даже оказывал ему посильную помощь. Я убедительно прошу суд обратить внимание на имеющиеся в деле телеграммы за номерами П/40/42, П/56/48 и М/70/84, поступившие на мое имя, от начальника зондеркоманды СД Ц-6, в которых настойчиво повторяется требование направить бригаду для производства ремонта газового автомобиля «зауер», следовавшего из Мариуполя в Таганрог. Как видно из этой переписки, я всячески оттягивал производство ремонта, ссылаясь на отсутствие газовых шлангов, с целью воспрепятствовать или, во всяком случае, задержать намечавшуюся акцию. Таким образом, были спасены сотни, а может быть, тысячи человеческих жизней…

Хотел бы остановиться еще на одном пункте, а именно на так называемом жестоком обращении с партизанами и на ликвидации русских военнопленных. В данном случае суду незачем верить мне на слово — достаточно изучить имеющуюся документацию, чтобы понять, что боевые действия против партизан проводились, как правило, соответствующими армейскими соединениями под руководством своих командиров [129] и что участие эйнзацгруппы в таких операциях было, по существу, номинальным.

Я со всей категоричностью утверждаю, что лично ни разу не участвовал ни в одном расстреле, ни в одном удушении, ни в одном повешении и что на моих руках нет ни одной капли человеческой крови.

Я утверждаю, что мне ничего не было известно о таких преступлениях, как убийство престарелых и многосемейных лиц в Таганроге или уничтожение больных детей в Ейске (прошу, кстати, отметить, что в октябре 1942 года, когда проводилась ейская операция, я находился на излечении в госпитале).

Надо знать систему дьявольской конспирации, которой была пронизана вся деятельность органов безопасности, систему, при которой вышестоящее лицо зачастую не было даже осведомлено об истинном характере действий своих подчиненных, надо знать обстановку, царившую в штабах эйнзацгрупп, с их бюрократизмом, «канцелярской волокитой», которая поглощала все мое время, лишала возможности принимать практическое участие в конкретных операциях, чтобы понять, что даже при самом настойчивом желании я не мог быть причастным к тем преступлениям, которые инкриминируются мне обвинительным заключением.

Суд не может оставить без внимания и то обстоятельство, что, будучи солдатом и повинуясь приказам, я не имел ни моральной, ни физической возможности активно препятствовать предписаниям моих начальников, ибо, не выполняя приказ, какого бы содержания он ни был, я тем самым подал бы дурной пример моим подчиненным, что в свою очередь [130] внесло бы во всю работу эйнзацгруппы хаос и разложение и привело бы к еще более диким, неорганизованным акциям. Не приходится доказывать, что в любой стране, в любой армии неукоснительное выполнение приказа является первейшей обязанностью каждого военнослужащего, особенно во время войны.

Материалы дела наглядно подтверждают, что лично я не совершил ни одного поступка, идущего вразрез с полученными мною приказами, и не моя вина в том, что эти приказы были преступными.

Может быть, мою вину усматривают в том, что я был верен присяге и продолжал выполнять свой служебный долг? Но ведь самое понятие «преступность» относительно и зависит от того, с какой точки зрения смотреть на вещи. То, что кажется преступным моим сегодняшним обвинителям, казалось справедливым и нравственным моим вчерашним начальникам и мне самому. Если бы осознание преступности моих действий пришло ко мне не сегодня, а, скажем, в сорок втором или в сорок третьем году, то я выступил *бы* против своего руководства. С вашей точки зрения я был бы в таком случае героем, но содержание моей деятельности разбиралось бы не на этом процессе, а подлежало бы разбору нацистского трибунала, который рассматривал бы это мое «геройство» как измену и преступление.

Но я не оказался ни героем, ни изменником.

Увы, человечество состоит не из героев, а из обыкновенных людей, которые действуют в зависимости от обстоятельств и живут по законам той страны, гражданами которой они являются. Это, между прочим, объясняет полную бессмысленность и обреченность любого индивидуального «героизма», противоречащего [131] официальной доктрине. Такой «героизм» не был бы понят основной массой и только вызвал бы дополнительную волну репрессий и жестокостей.

Господа судьи! События, которые явились предметом судебного разбирательства на этом процессе, давно уже стали достоянием истории. История вынесла свой приговор — приговор времени, режимам, правительствам, оставив в стороне поступки отдельных людей, ибо не люди определяли характер времени, а, напротив, время определяло характер людей. И если история оказалась снисходительной к отдельным людям, к этим песчинкам, попавшим в водоворот времени, то я могу спокойно ждать вашего приговора, уверенный в вашей справедливости, в вашем нежелании увеличивать число пострадавших от этой войны еще одной жертвой. [132]

Человек из-под кровати

...В Ростове, во дворе дома на улице Горького, небольшой флигелек, кусты, остатки плюща; должно быть, летом здесь зелено.

Из темноты отворили, в дверях — женщина, лет шестидесяти. Милый, певучий голос:

— Здравствуйте!..

Это его жена.

Полное, добродушное лицо, в очках.

— А дед где?

— На работе.

— Вот как!.. Устроился? Куда же?

— Он теперь охранником при гараже.

Вошел. В комнате обжито, уютно — «в тесноте, да не в обиде». Мебель. На столе — ноты. Пианино. Большая дореволюционная фотография — групповой снимок: лысые, с бородками, в стоячих воротниках. *Кровати.* Умывальник за дверью. Дореволюционный уют. [133]

Здесь он жил.

Жена:

- Сколько было страха! При немцах. И потом... Лучше об этом не вспоминать. Он вам сам все расскажет.

Молодая женщина, жена его сына, весело вызвалась меня проводить, накинула на плечи шубку. Пошли.

Стучим в железные ворота.

— Папа, это я. Вернее, к вам! Ну, будьте здоровы...

Лязгнул тяжелый замок. Долго отпирает, медленно. Показался он, очень высокий, бледный, медленный. Ни испуга, ни удивления. Запер за мной ворота на замок, дважды повернул ключ. Прошли в контору, где он дежурит. Тепло. Яркий свет. На столе — алюминиевая ложка, таблетки биомицина, Чапыгин — «Разин Степан». На стене — политическая карта мира и авоська с продуктами.

Смотрю на него: длинное лицо, поблекший, но аккуратный пробор (это — от офицерства, был у Колчака прапорщиком), офицерский подбритый висок, гладкое лицо, без морщин. Когда говорит, обнажает большие бледные десны, из которых торчит единственный длинный серебряный зуб. Иногда, разговаривая, облизывает языком губы. Голос густой, но какой-то погасший. Его длинное серое пальто напоминает кавалерийскую шинель, с которой спороли погоны.

Его жизнь

Из чиновничьей семьи, сибиряк, колчаковский прапорщик. После гражданской войны — в Ростове, бухгалтер в тресте столовых и ресторанов, руководитель [134] ансамбля народных инструментов: играл на балалайке, гитаре и мандолине. О своей «советской деятельности» говорит так:

— Работал активно, избираем был в завком, в профком, был представителем МОПРа. В 1941 году — война, ополчение. Ночью полк отступал из Новочеркасска, задержали немцы.

Удалось отпроситься, вернуться домой.

Голодно. Кто-то сказал, что в полиции, если туда поступить, «будут хорошо питать и дадут документы».

— Я поступил в полицию. Обязанности: следить за порядком, обход участка, вывод населения на работы.

Обходил участок длинный бледный человек с повязкой на рукаве.

— Ну, и как же вас «питали» в полиции?

— Плохо. Никаких привилегий не было. Собак, кошек ели. К стыду…

Служба продолжалась. Были случаи, поступали доносы от провокаторов: в такой-то квартире прячется коммунист, еврей, хранят советскую литературу. Ходил. Производил обыски. Доставлял подозреваемых в полицию.

— Вы знали о расстрелах, о пытках?

— Лично не видел. Но говорили…

— И вам не жаль было людей?

— Что делать…

Он «исполнял обязанности», но никого из соседей по дому не выдал, даже помог кое-кому.

Когда стали регистрировать евреев, к нему пришел дирижер духового оркестра, знал его «по линии искусства».

— Спрашивает меня: «Что делать, являться ли?..» [135]

Я сказал: «Явись, им, наверно, такие специалисты, как ты, пригодятся…» Думаю, он меня послушался и погиб. Больше я его никогда не встречал.

В 1943 году при отступлении немцев из Ростова пешком ушел в Таганрог, оттуда — в Первомайское, с немцами бежал в Германию, работал бухгалтером на немецком заводе. Когда пришла Красная Армия, выдал себя за военнопленного, легко прошел «госпроверку» и вернулся в Ростов. Домой пришел ночью — никто его не видел.

Это было в 1945 году. Ему было тогда пятьдесят три года. Сейчас ему семьдесят…

Он знал, что его могут опознать, разоблачить как полицейского, судить.

— Я боялся.

И он залез под кровать,

Семнадцать лет он прожил под кроватью или в ларе для муки, семнадцать лет ни разу не выходил на улицу, не дышал воздухом.

Старилась жена, рос сын, совсем одряхлела теща. Ночью он спал с женой, чутко прислушиваясь к скрипам, к шорохам. Утром вставал, делал гимнастику и уползал под кровать, с которой до пола свисало плотное покрывало.

Изредка он вылезал, слушал радио, помогал по хозяйству…

Эта бесконечная процедура — его залезание под кровать — была главной деталью жизни этой семьи. Никогда не приходили гости. Если к сыну случайно заглядывал кто-то из товарищей или девушек, он лежал под кроватью, боясь кашлянуть, шелохнуться. Над семьей тяготела страшная тайна: это было так, как если бы под кроватью лежал труп зарезанного [136] человека или динамит, который может вот-вот взорваться.

Время шло: конец сороковых годов, начало пятидесятых, шестидесятые… Он знал о происходящих событиях от радио, напряженно следил за новостями, но каждое утро все начиналось сначала — длинный старый человек уползал под кровать.

Сын вырос, работал электротехником, влюбился, женился — молодую жену надо было ввести в дом. Он открыл ей страшный секрет. Теперь в историю с «отцом под кроватью» втянута была еще одна судьба и еще одна жизнь исковеркана.

А он все жил под кроватью, иногда, в случае особой опасности, залезал в ларь. Если за окном раздавались шаги, прятался за умывальник.

Ему шел седьмой десяток. Он стал стариком. У него выпали все зубы — он страдал зубной болью, но, конечно, не мог обратиться к врачу. Тем не менее серьезно он не болел ни разу.

— Я не рад уже был жизни. У меня нервы были издерганы, и сердце стало плохо работать. Но это у меня. А родные?..

Однажды в семье случилось несчастье — умерла мать жены. Пришли прощаться родственники, соседи, в комнату набралось много народу.

Он замер в своем укрытии — больше всего боялся чихнуть. Из-под кровати он видел ноги входивших, слышал голоса…

Наконец, осенью 1962 года, сын сказал: нужно явиться.

— Он взрослый же парень, а я все залажу и вылажу из-под кровати.

Жена купиле ему пальто. [137]

Он говорит:

— Это было в день Карибского кризиса…

Он шел по городу, в котором скрывался семнадцать лет, и не узнавал ни людей, ни домов, ни улиц. Все это выросло без него, не при нем.

Он явился с саквояжиком, заявил:

— Я служил *в* полиции.

На него взглянули с удивлением.

Он сказал:

— Я семнадцать лет прятался. Арестуйте меня.

Его опросили и отпустили домой: семь лет, как на него распространялась амнистия.

Ему дали паспорт, прописали, устроили на работу сюда, в гараж.

— …Я, по-моему, даже не заслужил такого внимания.

Плачет. Беззвучным старческим плачем. Это — сухой плач, без слез. Плач человека из-под кровати.

— Я сознаю, какие преступления совершил. Во-первых, изменил Родине. И в белой армии служил к тому же. Не знаю, как благодарить даже…

Я задаю еще несколько вопросов. Он говорит, что после явки с повинной хотел покончить с собой. После того как страх — главное содержание его жизни — кончился, жизнь потеряла для него смысл. Выйдя наконец на улицу, он утратил цель, с которой сроднился: надежно спрятаться.

Теперь у него был паспорт, работа, не надо было ни от кого скрываться, но тем самым была утрачена цель. И это — самое страшное наказание, которое постигло бывшего изменника и полицая.

Найдет ли он новую цель? Едва ли. Ему уже семьдесят лет.

Он говорит, что мог бы еще руководить ансамблем народных инструментов, но его не возьмут на «культработу» (при этом он поглядывает на меня, надеясь услышать опровержение). Беседа окончена.

Идем через мокрый, темный двор, похожий на тюремный.

У него длинное, нескладное, наклоненное вперед туловище. Голова на этом туловище кажется ма-жькой.

Он отпирает замок, скрипят железные ворота. Потом я слышу, как он вновь запирает, гремит засовом, проверяет: надежно ли?..

* * *

Отрывок из этого очерка был опубликован в некоторых газетах. Я получил много писем читателей. Вот одно из них.

ИЗ ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ

Двадцать лет скрывался предатель, прячась от страха под кроватью.

Была амнистия, его простили.

Но пусть не думает, что его современники также простили его. Пусть прошло 20 лет, пусть 1020, Имена Ирода или Иуды на забываются поколениями народов и будут нарицательными до тех пор, пока стоит земля.

Этот зверь, как он деликатно говорит о себе, «отводил подозреваемых в полицию»! Он не отводил, а вылавливал и приводил к немцам на казнь неповинных людей. Он делал это не в юношеском возрасте, когда еще могло не установиться моральное лицо: ему тогда было полсотни лет.

Кто поверит, что он теперь осознал, какой он гнусный, отвратительный преступник?

Нет, мы никогда не простим его!

Мы, которые видели увозимых на грузовиках за город матерей и бабушек с искаженными, застывшими лицами, в отчаянии прижимавших к груди испуганных внучат; мы, которые [138] видели юношей и девушек, которых также везли на казнь, а они пели,

прощаясь с жизнью, и помахивали фуражками; мы, которые видели двор ростовской тюрьмы, заваленный тысячами трупов невинных жертв, тоже отведенных в гестапо, — мы не простим предателям их черной работы.

Это не наказание предателю — просидеть годы в своей квартире. Он все же жил, жрал, дышал, а с темнотой, наверно, впитывал ночную прохладу, жизнь.

А те, которых он «отводил»…

Так пусть же они и простят его.

А мы не прощаем!

Людмила Назаревич, врач.

Ростов-на-Дону [140]

«Бунте Бюне»

III пехотная дивизия. Командный пункт.
II-а — забота об офицерах, 22. 8. 43.
С о д е р ж а н и е: посещение театров. Таганрог.

Требования, предъявляемые военной обстановкой к воинским частям, приводят к тому, что театры
посещаются исключительно слабо.

Т. к. театры должны работать без дотаций и рассчитывать только на свои доходы, ввиду плохой посещаемости театров узеличивается их нерентабельность, и вследствие этого может встать вопрос об их закрытии. Само собой понятно, что под критическим взором русских нельзя упразднять культурную работу среди немецких воинских частей. Исходя из интересов расквартированных в городе воинских частей и в целях организации времяпрепровождения войск во время долгих зимних месяцев, закрытие театров не должно быть допущено.

Поэтому рекомендуется всем командирам находящихся в Таганроге подразделений, особенно начальникам госпиталей и санаториев, всячески поощрять посещение театров путем вербовки зрителей или надлежащих указаний на этот счет. Чтобы привести в соответствие службу дежурных на постах и связистов с посещением ими театра, начало представлений в театрах [141] с 28.8 переносится на 17 часов пополудни. Представления будут длиться два часа.

Кроме того, солдатам разрешается приводить с собой в театр гражданских лиц.

По поручению — Ф. Бюллов, полковник.

В Таганроге живет сейчас бывшая певица Лариса Георгиевна Сахарова (так ее назовем), которая в годах 1939–1940-м выступала на сочинских эстрадных подмостках, в 1941-м приехала домой, в Таганрог, «попала под

оккупацию» и работала в театре при немцах. Я о ней собираюсь рассказать, хотя речь здесь пойдет не о героине-подпольщице и не о предательнице, а о судьбе некоей «певички», настолько заурядной, что, казалось бы, и рассказывать-то не о чем. Ну, пела немецким офицерам, ну, видела всякие безобразия, ну, голод был, и деваться было некуда: всех неработающих отправляли в Германию, а на бирже труда сказали, что требуются актеры в театр, — она и пошла с двумя трубачами, их всех троих зачислили, и она пела.

Жизнь коротка, искусство вечно — фашисты тоже не могли обойтись без искусства. Это — естественная человеческая потребность в зрелище, в том, чтобы вечером, после дня тяжелых трудов, переодеться, опрыскать себя одеколоном и прийти в театр, где огни, красный бархат кресел, а на сцене…

Вот тем, что происходило на сцене, меня поначалу и заинтересовала Лариса Георгиевна, потому что я о фашистской «теории искусства» много читал, на этот счет существует обширная литература, и на самом деле важно понять, в чем состоит так называемый «яд фашизма», проникший в искусство.

Меня, признаюсь, всегда удивляло одно [142] обстоятельство. Эти мерзавцы, которые готовили себя для убийств и для которых убийство было главным занятием, главным удовольствием и содержанием всей их жизни, требовали от искусства какой-то нечеловеческой благопристойности. Казалось, их глазу милее всего должны быть кровавые фантасмагории, кошмары, нагромождение трупов, искаженные от боли и сладострастия лица — так нет же. В живописи, например, почитались скучнейшие пейзажи с изображением немецких лесов, гор, зеленых полей, по которым бродят откормленные стада и где «возделывают почву» трудолюбивые крестьяне. Были грандиозные статуи и портреты «немецких мужчин» — обнаженных мускулистых красавцев (лишенных, впрочем, признаков пола) или одетых в мундир, «немецких женщин» — златокосых, задумчивых, но целеустремленных и уверенно глядящих «вдаль». Был Гитлер — в бронзе, в мраморе, в гипсе, Гитлер, написанный маслом и нарисованный углем, но не тот исступленный фанатик, который возбуждал толпы на митингах и «партайтагах» при свете факелов, а благопристойный, хорошо выбритый и причесанный господин в галстуке, с аккуратным пробором. Особенно тщательно выписывали галстук, вплоть до каждой волосинки — усы, и старались сделать пробор как можно ровнее, и пуговицы на кителе были как настоящие.

Я сперва не мог понять: какую, с точки зрения фашистов, «воспитательную роль» могла играть такая живопись? Ведь им нужно было взвинчивать людям нервы, подхлестывать воображение. Неврастеники, мистики, жизнь которых проходила в сплошной истерии, крайние декаденты в политике, которые руководствовались своей больной, воспаленной фантазией [143] даже в государственных и внешнеполитических делах, устроители фантастических пыток, они должны были бы и в искусстве любить дисгармонию, нарушение пропорций, мистическую экзальтацию. Но они яростно боролись с «отклонениями от нормы», они только и делали, что кричали о «здоровом» искусстве, «полнокровном», «трезвом». Геббельс, например, приказал однажды прочесать все немецкие музеи и выявить хранящиеся в запасниках прлотна «враждебных» художников. 730 полотен

были извлечены из подвалов и выставлены на «всенародное» обозрение, снабженные такого рода надписями: «Так слабоумные психи видят природу», «Немецкая крестьянка глазами еврейчика». Приходили лавочники, унтер-офицеры, чиновники со своими женами — покатывались со смеху. После этого картины сожгли{7}.

И в литературе было то же самое, и в театре, и в музыке. Здесь тоже все время кого-то выкорчевывали, громили, выжигали, обвиняли в безнравственности, в извращенной сексуальности, в растлении человеческой психики и морали. Это шла речь о крупнейших, признанных во всем мире писателях, драматургах и композиторах. Классиков, за небольшими исключениями, предлагали выбросить на свалку, как «либеральный хлам». Знаменитое сожжение книг 10 мая 1933 года проводилось под лозунгом — «Борьба за нравственность, дисциплину, за благородство человеческой души и уважение к нашему прошлому». [144]

Сам по себе талант считался чем-то нежелательным, опасным, почти преступным. И это тоже — на первый взгляд — странно, потому что всякое, пусть и фашистское, государство, казалось бы, нуждается в определенном минимуме людей талантливых и мыслящих. Однако гитлеровское государство предпочитало иметь дело с бездарностями, с дилетантами, — даже симпатизировавший одно время нацистским идеям известный поэт Готфрид Бенн в своем отчаянном письме, адресованном берлинскому фельетонисту Франку Марауну, вынужден был признать, что в официальном искусстве царят «наглость и примитивность». Он писал: «Премии дилетантам, исключительно *одним* дилетантам, поощрение эпигонов, громкие слова в честь бездарностей, которыми прикрывается бессилие… вот в чем их сила».

И это действительно была «их сила» — сила тупости и человеконенавистничества, потому что в возвеличивании бездарностей, в насаждении всей этой «благопристойной» скуки был свой резон и своя цель: умертвить мысль, живое чувство, лишить человека радости; было садистское желание давить человека, довести его до такого отупения, чтобы он превратился в бездумный, нерассуждающий автомат.

На такое «искусство» они не жалели средств, осыпали деньгами, увенчивали титулами — «профессор», «культур-сенатор», «государственный артист» — ничтожеств, которых в других, мало-мальски нормальных, условиях к храму искусств близко бы не подпустили. Они даже создали специальный комитет «поощрения не признанных прежде поэтов, писателей и артистов». Каждый, кто осмеливался высказать слово хотя бы чисто профессиональной критики, [145] подвергался оскорблениям, травле и легко мог оказаться в концентрационном лагере. В Нюрнберге полиция схватила двух журналистов, которые неодобрительно высказались о варьете, состоявшем под покровительством Юлиуса Штрейхера. Журналистов доставили в варьете, загримировали и приказали петь и плясать вместо раскритикованных ими актеров. Естественно, что они «провалились» и публика «с позором» прогнала их со сцены. Этот случай был позднее использован Геббельсом, который объявил критику «грязной еврейской затеей» и выпустил специальный приказ, согласно которому «каждый критик должен быть готов в любую минуту и по первому требованию заместить тех,

кого он критикует; в противном случае критика теряет свой смысл — она становится наглой, самонадеянной и тормозит развитие культуры».

Зато сами они «критиковали» вовсю, у них был свой штат «критиков» — от гестаповских следователей до геббельсовских и розенберговских пропагандистов, которые мордовали немецких интеллигентов: одних загоняли в тюрьмы, других изгоняли из страны, третьих лишали возможности работать. И непременным аргументом в таких случаях было словцо «антинемецкий». Они клялись немецким народом на каждом шагу и шельмовали писателей, художников и ученых… Выходило, что не Томас Манн, не Генрих Манн, не Ремарк, не Фейхтвангер, не поэты рабочего класса Германии — Брехт, Бехер, Вайнерт, — а Розенберг с Геббельсом знали, чем живет и чего хочет немецкий народ. Но если бы кто-нибудь попробовал в гитлеровской Германии рассказать правду о том, как живет народ, или проявил хотя бы более или менее глубокий интерес к народной жизни, его бы [146] немедленно отправили «изучать» жизнь и смерть туда, где в те времена находились лучшие представители немецкого народа.

А вообще иногда трудно было понять, чего им нужно от культуры: установки поступали самые неожиданные, исключающие друг друга. В «культурной политике», как и во всем, проявились разнузданная прихоть и произвол нацистских властителей. Кроме того, «культура» была подходящей областью для интриг, взаимных подсиживаний, сведения счетов между двумя могущественными соперниками — министром пропаганды Геббельсом и «партийным идеологом» Розенбергом.

В году 36-м, кажется, Геббельс задумал выпуск «патриотических» фильмов, картин о «выдающихся германцах» — полководцах, государственных мужах, промышленниках. Создавались и так называемые «почвенные» фильмы об «отечественной природе». Вся эта продукция официально провозглашалась «новым словом в кино», величайшим достижением «новой германской культуры», избавленной от «марксистской заразы».

Но в самый разгар кинокампании Гитлер выразил недовольство из-за того, что министерство пропаганды уделяет слишком большое внимание «патриотическим» фильмам и забывает «национал-социалистскую тематику». Это на Геббельса нажаловался Розенберг, обвинил его в том, что на экранах нет «героев движения» — гаулейтеров, генералов, эсэсовцев. Пришлось перестраиваться на ходу. Однако вскоре поступила новая директива. Было заявлено, что «никто не требует, чтобы новая идеология маршировала по сцене или экрану и чтобы в пьесе или фильме [147] героями обязательно были эсэсовцы и штурмовики. Напротив, их место не на экране, а в строю». И почему так мало веселых комедий?..

Или другой пример. Сколько было произнесено речей, сколько статей написано о том, что «снобы» придираются к «самородкам», которым, может быть, недостает опыта и таланта, но которые одержимы желанием воспеть «великое нацистское время» (einmalige Zeit!). Некоторых «снобов» даже посадили в тюрьму. И вдруг — новость. Геббельс выступает с речью, он говорит: «Только посвященные могут служить на алтаре искусства. Никто не допустит, чтобы гениальность и талант были вытеснены бескровным

дилетантизмом ничтожеств». «Снобы» воспряли духом, «ничтожества» приуныли, но зря. Кто является «гением», а кто «ничтожеством», устанавливали соответствующие ведомства, так что «ничтожествам» нечего было опасаться — их просто произвели в «гении», вот и все…

Я пишу обо всем этом так подробно потому, что между гитлеровской «культурой» и гитлеровскими зверствами есть прямая связь: ведь одни и те же руки сжигали картины и книги и уничтожали людей. Но тем, кто это делал, тоже нужна была какая-то «эстетическая радость», какие-то развлечения. Конечно, хороши Зигфриды, Брунгильды, «нордический Стальной романтизм», но иногда хочется, чтобы на экране или на сцене была красивая жизнь, красивые женщины, с красивыми ногами, бедрами, бюстами, особенно когда идет война и кругом кровь, смерть и лязг железа. Нужен конкретный, доступный «идеал», чтобы фронтовик знал, за что он воюет и что он реально получит, если возвратится с победой… [148]

В Таганроге я спрашивал, какие спектакли и фильмы смотрели оккупанты, что демонстрировалось в офицерских кино: интересно было узнать, «на чем» отдыхали Брандт, Герц, Тримборн после очередных прогулок на Петрушину балку, какую «зарядку» давало им искусство.

Киносеансы обычно начинались с «вохеншау» — еженедельных обозрений. В течение двадцати минут экран убеждал зрителей в близости победы, в том, что на фронтах и в тылу дела идут замечательно. Возникали Бранденбургские ворота. Гитлер в кожаном реглане выходил из машины, вскидывал руку. Парад… По обе стороны Унтер-ден-Линден стояли инвалидные коляски: ветераны первой мировой войны приветствовали боевую смену. Фюрер обходил строй колясок, ласково беседовал с инвалидами. Тыл. Женщины из «фрауенбевегунг» собирают посылки для фронта. Сгорбленная старушка принесла ватный жилет покойного мужа, пятилетняя девочка, ангелочек с золотыми локонами, — свою любимую куклу… Фронт. Двигались танки, ревели орудия, с закатанными по локоть рукавами шли загорелые, запыленные немецкие юноши… Поля, усеянные русскими трупами. Усталые колонны военнопленных.

Голос диктора звучал уверенно, в нем была государственная значительность, торжественность, ни тени сомнения: все в абсолютном порядке, мы побеждаем.

Затем давался основной фильм — «Девушка моей мечты», «Король-ротмистр» или «Улица Большой Свободы, 7» — о веселых гамбургских моряках. Это была награда победителям. Казалось, сама Германия, [149] прекрасная и манящая, зовет к себе, в свое лоно, — надо только выиграть войну…

Показывали «Злату Прагу» — сентиментальную мелодраму о немецкой девушке, обманутой «коварным славянином» — чехом, который довел ее до самоубийства. В «Симфонии одной жизни» немец, учитель музыки, становится жертвой «коварной мадьярки». Зато в фильме «Средь шумного бала» с Царой Леандер иная ситуация: здесь немка, «фрау Мекк», выводит в люди русского композитора, это — фильм о Чайковском.

Изредка приезжали «фронтовые театры» — «фронт-бюне», показывали ревю, отрывки из оперетт, певица пела: «Ах, ви ист ам Раин зо шён…» — «Как

хорошо на Рейне…». Отдых после допросов, после Петрушиной балки. Когда смотришь ревю или слушаешь музыку из «Продавца птиц», проникаешься уважением к себе, чувством собственного достоинства: ты не огрубел в этой дикой России, не опустился. Если ты еще способен воспринимать прекрасное, ты — человек…

В Таганроге стационарным «очагом культуры» была «Бунте бюне» («Пестрая сцена») — варьете, созданное в помещении театра имени Чехова. «Бунте бюне» подчинялась «зондерфюреру по театру» Леберту, назначенному на этот пост службой безопасности. От пребывания Леберта в Таганроге осталось несколько архивных документов: распоряжение о том, что все исполнители музыкальных произведений обязаны зарегистрировать свой репертуар в городской полиции; репертуарный план таганрогского театра на 42-й год («Бомбы и гранаты», «Редкая парочка», «Тайны гарема», «Неизвестная», «Рождественский сон») и докладная [150] записка об аресте «баяниста Мищенко, русского», который был задержан на базаре за исполнение песни «Широка страна моя родная» и доставлен к Леберту. После допроса Леберт наложил резолюцию: «Подлежит переселению», что означало расстрел.

«Бунте бюне» была странным заведением — не то варьете, не то гестапо, вернее — и то и другое. Здесь «искусство» и полиция шли рука об руку, Талия и Мельпомена носили особый характер.

Я перебирал документы, брошенные Лебертом, — непонятные мне сводки, заметки, записочки. Сведущие люди объяснили, в чем дело. Театр был одним из центров немецкой контрразведки в Таганроге. Каждую певицу или танцовщицу Леберт нагружал дополнительным заданием — разузнавать среди родственников, ближайших соседей, какие настроения в городе, заставлял артистов доносить друг на друга. Мало кто из этого омута выходил незапятнанным. Бывало, вызовет артистку, дает ей задание: пойди к такому-то, скажи, что ты нами обижена, хочешь от нас уйти, ищешь связи с подпольщиками; потом доложишь.

Отказ от задания рассматривался как антигерманский саботаж, и саботажем было, если откажешься лечь в постель с немецким офицером. Леберт сам подбирал для начальства «девочек», «устраивал» их высоким чинам и приятелям. Вот отчего не выходили из театра Зепп Дитрих — командир дивизии СС «Адольф Гитлер», и генерал Рекнагель, и начальник гестапо Брандт. Вот какой им нужен был *театр* — «здоровое», «не извращенное» немецкое искусство…

И все это видела, все это пережила и, можно сказать, испытала на себе Лариса Георгиевна Сахарова, [151] которая, как я слышал, давно уже оставила сцену и работала теперь в строительной конторе.

Мне дали ее домашний адрес: сходите, она вам про «фашистское искусство» расскажет со всеми подробностями, ни в одной книге столько не прочитаете.

Сахарова встретила меня в халате — бледное большое лицо с крупными чертами, зачесанные кверху волосы. Подняла грустные глаза, сказала, чуть ли не умоляя:

— Проходите, пожалуйста. Пожа-луйста…

У нее почти страдальческий, глубокий взгляд, длинные пальцы, и во всем ее облике, в этом «неглиже» (халат, домашние туфли в два часа дня), в затянувшемся утре — что-то романсовое, какой-то «надлом». Но когда я прошел к ней в комнату, увидел быт вполне благополучный: новый платяной шкаф с отделением для немногих книг, телевизор, покрытый плюшевой накидкой; на столе — тетради, счетная линейка, пачка папирос «Наша марка».

— Курите, прошу вас! Я уже второй день не курю…

У ее ног, облизывая ее шлепанцы, суетится болонка. Сахарова уходит в соседнюю комнату, приносит двух щенят:

— Вот наше потомство…

Дверь в другую комнату приоткрыта — там бесшумно передвигается высокая, прямая старуха.

— Это моя мама. Ей девяносто лет.

Сначала разговор не клеился. Заплакала:

— Мне уже сорок семь! Я больше не могу вспоминать! [152]

Потом стала рассказывать о предвоенной жизни — как выступала в Сочи, в Гаграх, в Кисловодске, «подавала надежды».

— Помните до войны песню — «Чайка смело пролетела над седой волной…»? Это был мой коронный номер, меня знали на всех курортах. Но я мечтала о консерватории, собиралась в Ленинград — и вдруг война, пришлось возвращаться в Таганрог, к маме, к сестре. И знаете — это произошло так неожиданно, не успели даже сообразить, что нам делать, как уже в городе немцы.

За месяц до оккупации взяли в армию человека, которого я любила. Перед самым приходом немцев его часть остановилась в Таганроге, около Госбанка. Я прибежала, как сумасшедшая, сказала, что пойду вместе с ними, буду, если хотите, солдатом, если нельзя, то буду песни петь, буду фронтовой певицей, кем угодно. Но это были только мечты. Часть уже отправлялась. Он вынул из бумажника триста рублей — все, что у него было, отдал мне. Так мы и расстались, договорившись, что я попробую эвакуироваться. Но достать в те дни эвакокарту было выше сил человеческих.

И вот пришли немцы. Я осталась одна с мамой, сестра у меня с ребенком. Как быть? Пошла сначала маникюршей в парикмахерскую. Я все умею делать: нужно — буду актрисой, нужно — маникюршей или портнихой, а сейчас вот я — техник, выучилась…

Маникюршей я проработала около месяца, но парикмахерскую закрыли — кому нужен был тогда маникюр? Стала я ходить по домам шить. Я кушала там и приносила домой. Ну, что дадут; когда пшена, когда кусочек мяса. А одной особе я шила каждый [153] день по крепдешиновому платью. Ее муж был при немцах старостой какого-то района…

(Сахарова говорит, словно диктует: настойчиво, медленно, стараясь, чтобы я как следует вник в ее рассказ и не делал опрометчивых выводов.)

Когда в городе работы не стало, пошла по деревням. Латала одежду, шила, брала продуктами. Через три месяца вернулась домой с двумя мешками картошки, с яичками, с фасолью. Все это я заработала честно и ни с какими немцами не встречалась. А дома узнаю новость: управдом Легиза выписал меня из домовой книги. «Идите, говорит, в полицию». Пришла я туда, а из

полиции направляют меня на биржу; каждый тогда знал, что это означает: отправка в Германию — и никаких разговоров…

Я умоляла, просила: «*Отдайте* мне паспорт!..»

(Сахарова «входит в образ», сейчас она — актриса, исполняет роль «Лора Сахарова в 41-м году» и действительно *умоляет* отдать паспорт, горько плачет, и я невольно хочу ей помочь, ловлю себя на мысли, что надо бы ей как-то посодействовать, чтобы паспорт ей отдали.)

Не отдают… Я пошла на биржу, которая помещалась в школе № 8 — это была первая школа, в которой я училась, прошу вас запомнить. Пришла, а там уже два трубача, я с ними выступала когда-то в концертах, говорят, что немцам нужны артисты, но требуется рекомендация. И тут, на мое счастье (или, вернее, на мое несчастье — как вам сказать?), встречается мне учительница пения, Ковальская Юлия Францевна: она вела у нас в школе музыкальный кружок, а теперь была концертмейстершей в «Бунте бюне». Посмотрела на меня и говорит: «Погоди, я похлопочу [154] перед своим шефом». Я умоляю: «Пожалуйста!» — не хочется ж в Германию ехать…

В театре меня принял Леберт. Это был человек отталкивающей внешности, форменная горилла. Рассказывали, что он бывший актер из Гамбурга, постановщик танцев в варьете, но позже я узнала, что он сотрудник гестапо и в Гамбурге, когда работал в варьете, был уже тайным осведомителем. Он довольно прилично говорил по-русски, знал и польский язык, и когда я предстала перед ним, он меня по-русски стал спрашивать, кто я, откуда, замужем ли и какие у меня в городе знакомства.

И вот началась моя новая жизнь. В театре служил тогда всякий сброд, я по сравнению с ними была величина. Профессиональных артистов не осталось, шли безголосые девчонки, мелкие актеришки — лишь бы уцелеть, прокормиться. Работникам искусств давались кое-какие привилегии. В продовольственном смысле нас приравняли к полицаям, то есть мы получали триста граммов хлеба вместо ста пятидесяти и котелок супа. Но, конечно, главная радость была — банкеты. Как только премьера или приезд высшего начальства — сразу же банкет. Присутствуют генерал Рекнагель, начальник гестапо Брандт, все их командование. На столах — вино, деревянные тарелочки в виде дубовых листьев с сырами, колбасами, с сырым мясом. Ну, тут уж никто из нас не терялся: крали бутылки с коньяком, бутерброды, печенье, потом выменивали на базаре. В городе тогда ничего не продавалось за деньги, всё меняли.

Я участвовала во всех спектаклях. В «Бомбах и гранатах» меня и девчонок одели в немецкую форму, мы пели их солдатскую песню «Лили Марлен», но в [155] основном репертуар был чисто любовного содержания. Немцы очень любят песни про любовь, тиролъские песенки и еще — «Мамахен, шенк мир айн пфердхен», то есть «Мамочка, подари мне лошадку»..»

Я пользовалась большим успехом, была красива, и голос звучал не так, как сейчас. Леберт говорил, что после войны пошлет меня на гастроли в Берлин, и это мне, как актрисе, конечно, льстило, не стану скрывать. Успех всегда окрыляет и кружит голову, так что забываешь, кому ты поешь и кто тебя хвалит. Это я признаю, в этом была моя слабость. Правда, иногда совесть

мучила: наши Иваны с ними сражаются, а мы им тут песни поем, — но об этом старались не думать, жили одним днем, одним часом. Все матерились беспардонно — и мужчины и женщины.

И в то же время мое особое положение в театре, мой успех избавляли меня от многих неприятностей. Я была более независимой, чем другие, могла себе кое-что позволить. Голой я никогда не выступала, отказывалась наотрез, даже в «Рождении Венеры», где я исполняла главную роль. Этот спектакль готовили специально для Зеппа Дитриха. Недавно я услышала его фамилию по радио — оказывается, он в Западной Германии живет — как мне стало противно! Зепп приезжал всегда с целой сворой эсэсовцев — все в черных мундирах, проходил за кулисы, шлепал девчонок по мягкому месту и обязательно после спектакля увозил кого-нибудь к себе. Так вот, Леберт лично разработал всю постановку: Венера должна была а финале выйти из раковины голой и преподнести Зеппу Дитриху букет цветов. Тогда я заявила, что петь не буду, устроила скандал, и Леберт ударил меня по физиономии. Я повернулась, ушла, а на другой день [156]назначена премьера. Утром Леберт приезжает за мной на машине, улыбается как ни в чем не бывало: «Мы, говорит, сошьем тебе трико на бретельках…»

(У нее вдруг начинают дрожать руки, всю ее передернуло. Она говорит: «*Трясучка* нашла — вспоминаю…»)

Оказывается, за меня заступился генерал Рекнагель — большой мой поклонник и очень корректный человек, седой, красивый, типичный генерал. Узнал от Леберта, что я не буду участвовать, возмутился, приказал немедленно доставить меня в театр.

И других я себе добилась поблажек. Был уж такой неписаный закон в этом театре, что все друг на друга докладывают, кто о чем говорит, поэтому в разговорах между собой старались выражать недовольство советским образом жизни, нашей «азиатчиной», и восхищаться всем немецким, их культурностью, тем, что они европейцы и прочее. Но я чувствовала себя незаменимой и не подлаживалась под этот тон, позволяла себе всякие выходки, за которые другому бы и головы не сносить. Например, как-то я пела на квартире у одного офицера, и он захотел со мной сблизиться. Вдруг началась бомбежка, и этот офицер говорит: «Ах, какая досада! Русская свинья залетела!» Так я ему ответила: «Ты, говорю, бандит, и все вы бандиты!» — и немедленно ушла. Он за мной гонялся по всему городу на машине с включенными фарами, а я спряталась у подруги, у Зины Катрич…

Но и это мне сошло с рук, только Леберт лишил на две недели пайка.

И вот нашелся подлец, тенор, который захотел продвинуть вместо меня свою любовницу, полнейшую бездарь, ни голоса, ни внешних данных — ничего [157] абсолютно. И он пишет на меня донос в гестапо, будто я жена комиссара и связана с партизанами. Однажды ко мне в уборную врывается Леберт с тремя эсэсовцами, говорят: «Одевайтесь быстрее. Поедемте с нами».- «Куда?» — спрашиваю. «На концерт»,- говорят.

И привезли меня в здание зондеркоманды, которая помещалась в школе на Октябрьской улице. Это — вторая школа, в которой я училась…

Допросили и вталкивают в камеру, в наручниках, вот посмотрите — до сих пор у меня остался рубец. Там, в камере, находилось четырнадцать

человек, я пятнадцатая. Все черные, страшные, одна девушка была среди них — измученная, губы у нее в лихорадке, — ее взяли как заложницу за брата, который переправился на тот берег, к нашим. Я догадалась, что эти молодые люди — подпольщики, и я смотрела на них как на героев. Я восхищалась ими. Впервые за много месяцев я увидела человеческие лица, пусть побитые, обезображенные, но это были человеческие, лица, а не фашистские рожи. И я готова была умереть вместе с этими людьми, только бы они меня простили и поняли…

Просидели мы сутки, рано утром всех, кроме меня, вывели на расстрел. За что такая мне милость? Я стояла у окна, слышала крики: «Я не виновата!», «Погибаю!», «Смерть фашистам!» Потом во двор втолкнули какого-то мужчину, он быстро побежал, в него выстрелили…

Имеете ли вы представление, как дорога жизнь человеку, когда он попадает в такое положение? Я видела в окно соседний дом — там кухня, женщины что-то варят, стирают. О, как я им завидовала! Как [158] хотела стать птичкой, пташкой какой-нибудь, чтобы выпорхнуть отсюда!..

Когда я пришла в себя, увидела, что в камеру пришел доктор Руппе — немецкий врач, который обслуживал театр. Он был очень близок с актерами, не отходил от нас ни на шаг, — кто его знает, может быть, и он был к нам приставлен?

Доктор Руппе сообщил, что через генерала Рекнагеля выхлопотал мне освобождение и что я опять могу приступить к работе. И все началось сначала: «Рождение Венеры», «Бомбы и гранаты», «Оболтусы и ветрогоны» — и так почти два года…

Сахарова снова плачет, кажется, что у нее и через двадцать лет не осталось в душе места для радости, но было ли тогда место для слез? Я спросил, нет ли у нее фотографий тех лет. Она достала две карточки. На одной она изображена в балетной пачке на холме на фоне города — занесла ножку над одноэтажным, бедным, пришибленным Таганрогом. На другой карточке — Сахарова в трико, с папиросой…

Когда немцы бежали из Таганрога, доктор Руппе вывез Сахарову в Германию. В Берлине она играла во фронтовом немецком театре «Винетта», где были собраны актеры из всех оккупированных стран. Затем попала в Вену, оттуда — в Дрезден, на фабрику, как «остарбайтерин» — «восточная рабочая» (личный номер — Д-С 6984), пережила дрезденскую бомбардировку и после окончания войны вернулась в Таганрог, только «петь больше не могла — все во мне перегорело…».

— Между прочим, от доктора Руппе я в 1958 году получила из Гамбурга письмо…

«Meine Hebe, Hebe Lapitschka! — писал ей доктор [159] Руппе. — Сегодня увидел тебя во сне и сразу же вспомнил и тебя, и наш Таганрог, и милый наш театр. Господи, как далеко ушло то золотое время, когда мы все были молоды, веселы и полны надежд! Где-то сейчас генерал Рекнагель, где Мария, где проказник Брандт, где все наши? Недавно я встретил… попробуй догадайся, кого? Беднягу Леберта! Он все такой же «красавчик», правда, поседел, и седина его несколько облагородила. Добряк открыл варьете, и как, ты думаешь, назвал он свое заведение? «Бунте бюне»! Так что «Бунте бюне»

жива, только Венеру играет какая-то рыжая кляча. Мы со стариком выпили немного, вспомнили тебя и прослезились.

Я, слава богу, здоров, у меня растут двое чудесных малюток от второй жены, она примерная хозяйка и отменная мать, что в наши времена — редкость. Считай — мне повезло. Посылаю тебе наши «изображения»… Моя добрая, горячо любимая матушка, благодарение богу, жива… Мой горячо любимый отец скончался в прошлом году, осенью… А как ты, как твой серебряный голосочек?..»

— Я ему, конечно, не ответила: стоит ли отвечать, да и на работе могут быть неприятности…

* * *

В тот вечер я побывал в театре имени Чехова. Шла современная пьеса, но мне иные мерещились персонажи, иной спектакль.

Я вышел в пустое фойе, заглянул к администратору, думал, он мне расскажет что-нибудь дополнительно. Но он мало что знал, вернулся в город 30 августа 1943 года, «вместе с войсками и начальником Ростовского управления культуры». [160]

— К концу дня мы уже налаживали театр, собирали труппу. Немцы вывезли реквизит, костюмы, осталась голая сцена и буфет для актеров. Вы спросите у нашей гардеробщицы Зинаиды Романовны, она хорошо знает всю эту историю.

Я спустился вниз, нашел Зинаиду Романовну.

Сахарову она помнила:

— Да. Была такая, пела здесь. Она и сейчас живет неподалеку, только не поет больше… Стерва была порядочная…

— Стерва-то стерва, а все-таки жаль ее…

— А чего ее жалеть? Жалеть надо тех, кто погиб. А ее-то чего жалеть? Жива осталась… [161]

Процесс

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

КОЛЛЕКТИВ ТРЕСТА «КРАСНОДАРНЕФТЕРАЗВЕДКА» С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ПРИНЯЛ СООБЩЕНИЕ, ЧТО ПЕРЕД СУДОМ ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА ПРЕДСТАЛИ ИЗМЕННИКИ РОДИНЫ. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ОТВРАТИТЕЛЬНЕЕ И ПРЕЗРЕННЕЕ ОТЩЕПЕНЦЕВ, ПРЕДАВШИХ СВОЮ РОДИНУ, СВОЙ НАРОД В ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ? ПОЩАДЫ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ! ПО ПОРУЧЕНИЮ КОЛЛЕКТИВА КОЖЕМЯКИН, КАМЕНСКИЙ, ЩЕКОТОВ.

* * *

КРАСНОДАР, ДОМ ОФИЦЕРОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ТРИБУНАЛА

МНОГОЧИСЛЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ НОВОРОССИЙСКОГО ВАГОНОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА, ПЕРЕПОЛНЕННЫЙ ГНЕВОМ И ВОЗМУЩЕНИЕМ, ТРЕБУЕТ ОТ ВАС БЫТЬ БЕСПОЩАДНЫМИ К ВЫРОДКАМ И ИЗМЕННИКАМ РОДИНЫ…

* * *

В ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ

ЗАСЛУШАВ СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «СОВЕТСКАЯ КУБАНЬ» О РАЗОБЛАЧЕНИИ ИЗМЕННИКОВ РОДИНЫ, БАНДИТОВ ИЗ [162] ЗОНДЕРКОМАНДЫ СС 10-А, МЫ, РАБОЧИЕ ОВОЩЕ-ВИНОГРАДАРСКОГО СОВХОЗА, ТРЕБУЕМ НАКАЗАТЬ ИХ ВЫСШЕЙ МЕРОЙ…

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА, КРАСНОДАР

Я, услышав по радио из Москвы о том, что в г. Краснодаре будет судебный процесс изменникам родины и убийцам, прошу огласить мое письмо на судебном процессе. Моя сестра Ярыш Дарья Михайловна, 1916 г. рожд., была схвачена убийцами и задушена в Краснодаре в 1943 году…

Я прошу, пусть народ осудит их самым страшным наказанием. Я уверен, что меня поддержат люди, которые убиты горем от рук бандитов-головорезов.
Участник великой битвы на Волге, инвалид 2-й группы войны
Ярыш Василий Михайлович

* * *

КРАСНОДАР, СУДЕБНОМУ ЗАСЕДАНИЮ НАД УБИЙЦАМИ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ

В моей семье от рук ублюдков погибло свыше 20 человек. Мою сестрицу взяли на штык и бросили с 2-го этажа.

Карой для судимых вами преступников может быть только смерть, чтобы неповадно было греть руки на чужом несчастье и проводить в жизнь систему геноцида.

Работников КГБ, сумевших найти преступников, представьте к высшим наградам и почестям, они достойны этого.
Фамилию свою не пишу, т. к. таких, как я, — тысячи…

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА СКВО

…Чем больше наши успехи, чем ближе мы приближаемся к нашей заветной цели — коммунизму, тем все более чудовищными выглядят преступления тех гнусных предателей, которых вы судите от имени народа. Священная память тысяч невинно

погубленных ими людей, миллионов героев требует беспощадного наказания этих архипреступников, которых нельзя назвать людьми.

Александр Михайлович Лаговер,

патриот Советской Родимы, преподаватель [163]

* * *

В ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ

Узнав из газеты о процессе, я решила послать суду хранившееся у меня 20 лет «воззвание» зондеркоманды СС 10-а, как память о моих погибших знакомых во время оккупации и как назидание моим детям и внукам.

Может быть, этот документ пригодится суду во время процесса.

г. Новочеркасск

Н. Н. Свиренко

За день до процесса в Краснодар приехал сын Скрипкина, матрос. Я встретился с ним в кабинете следователя, который вел дело его отца. Этот следователь выхлопотал ему вызов и через председателя трибунала устроил свидание с отцом, не только потому, что хотел выполнить свое данное однажды Скрипкину обещание, но главным образом по другой причине. Он узнал, что в подразделении, где сын Скрипкина служит, среди матросов «пошли разговоры» и парень находится в растерянности: как ему дальше быть, как жить на свете, если он теперь — «сын предателя»?..

Я пришел в ту минуту, когда следователь уже прощался с молодым Скрипкиным — высоким, красивым и застенчивым юношей, с пунцовыми от волнения щеками, в отутюженной матросской блузе, со значком ГТО.

Поражало его сходство с отцом. В деле хранилась фотография времен войны: Скрипкин с женой и годовалым ребенком на руках. Теперь эта фотография как бы ожила, словно не случайным было это столь разительное сходство, а содержало свой смысл: та испорченная, испачканная кровью жизнь Скрипкина [164] «погашалась», и вновь ему стало двадцать лет, и он «ни в чем не замешан», и теперь пусть живет как надо.

Может быть, именно об этом думал следователь, когда, пожимая молодому Скрипкину руку, говорил:

— Ну, поезжай и служи честно. Ты здесь ни при чем, командиру мы написали. Если вдруг когда что возникнет, обращайся к нам…

* * *

Свидание было недолгим. Скрипкин, увидев сына, всплакнул, просил его не присутствовать на процессе, и не потому, что стеснялся сына, а как отец — из педагогических, что ли, соображений — не хотел, чтобы мальчишка, к тому же матрос, воин, прикасался к той грязи, которая всплывает во время суда. Достаточно и того, что известно в общих чертах. Он так и сказал: «*Урок тебе преподан наглядный*». Под конец Скрипкин завещал «*беречь мать*» и

поддерживать ее в трудные минуты, так как «*исход может быть очень тяжелым* ».

Теперь это же слово — «*исход* » — повторил, прощаясь со следователем, сын Скрипкина: «Какой будет исход?» И все это странным образом напоминало вопрос, который задают врачу родственники тяжелобольного. И как врач, который не верит в благоприятный исход, вернее, уже не сомневается в том, что исход будет неблагоприятным, и все же не хочет огорчать родственников, следователь пожал плечами: «Кто знает?» — словно это не он только и делал, что добирался до той истины, которая исключала всякое вероятие «благоприятного исхода». [165]

Но что в данном случае означал «благоприятный исход» и для кого он должен был стать благоприятным?..

В этот же день из Омска прилетела Марфа Антоновна Комкова. Она прочла о предстоящем процессе в газетах и не выдержала, так как среди обвиняемых оказался один из убийц ее брата — легендарного Филиппа Антоновича Комкова, или «Мишки Меченого», которого расстреляли в гестаповской тюрьме в Николаеве.

Филипп был гордостью их семьи, хотя слово «гордость» здесь не совсем подходящее: вся семья у них была такой, как Филипп, все братья и сестры, и если уж говорить о гордости, то гордость была оттого, что Филипп и там, «на той стороне», не подвел, остался таким же, каким они его знали, представителем их рода.

Все они вышли из беднейших сибирских крестьян, все были коммунистами, и в Камне-на-Оби еще в двадцатом году их отец, Антон Андреевич Комков, организовал коммуну «Вставай, бедняк!», позже преобразованную в колхоз «Смычка».

Когда началась война, на фронт ушли старшие братья, а младший, Филипп, к тому времени уже служил в кадрах, военным летчиком. После смерти отца, с тридцать третьего года, он воспитывался у сестры, у Марфы Антоновны; пошел сперва в техникум связи, оттуда — в военное училище…

Его подбили в воздушных боях под Одессой, и, прыгая с парашютом, он сломал ногу, так что получил «метку» и, оказавшись в николаевском подпольном центре, назвал себя «Мишкой Меченым». За поимку «Мишки Меченого» и его группы немцы [166] обещали большое вознаграждение, но они были неуловимы. И только в мае 1943 года, перзбираясь в Знаменские леса, выданные провокатором, они были схвачены. Комкова доставили в тюрьму в Николаев.

Остальных расстреляли на месте.

Обо всем этом до Марфы Антоновны доходили разрозненные, случайные и не совсем достоверные сведения, и лишь один человек мог рассказать всю правду о последних минутах Филиппа, потому что своими руками его вязал и вталкивал в машину и перед самым расстрелом Комков плюнул ему в лицо.

Этим человеком был Скрипкин. Он Комкова очень хорошо помнил и на следствии, отвечая на вопрос следователя, знал ли он, кто такой «Мишка Меченый», сказал: «*Это был один из мужественных советских людей — Филипп Комков, летчик* ».

Прибыв на процесс, Марфа Антоновна тоже ждала «благоприятного исхода», то есть ждала, что возмездие восторжествует и убийца ее брата понесет заслуженное наказание. В том, что возмездие задержалось на двадцать лет, было для нее даже что-то знаменательное и придавало возмездию особую торжественность и весомость: вот ведь столько лет прошло, а Филиппа и всех погибших, расстрелянных не забыли и не простили их смерти, и сколько бы ни прошло лет, убийцам и предателям не будет прощения.

Вообще двадцатилетняя давность играла на этом процессе возвышенную и грозную роль. Здесь сама судьба преподносила урок, и присутствие *судьбы*так или иначе ощущалось каждым из собравшихся в этот день в Краснодаре.

Но то, что воспринималось как судьба, как [167] символическое выражение неотвратимости кары, было для большой группы людей итогом их труда, нелегких поисков и усилий.

…Все началось с имени — оно было одиноким как перст, немецкое имя *Алоис* , еще лишенное фамилии, почти не обросшее фактами, — *Алоис* , переводчик зондеркоманды СС 10-а.

Комната от пола до потолка была забита папками, старыми, первых послевоенных лет, судебными протоколамиг актами государственных чрезвычайных комиссий, которые когда-то, в только что освобожденных городах и селах, эксгумировали трупы и опрашивали население. И среди этих дел, в тоннах бумаг, гнездился *Алоис.*

Старые акты были составлены в горячке войны, наспех; там в качестве непосредственных виновников зверств обычно называли нескольких немецких офицеров: командир дивизии, начальник гестапо, шеф зондеркоманды. Между тем во рвах и в балках лежали тысячи трупов, и у каждого убитого был свой убийца. Кто?..

Мертвые то и дело напоминали о себе живым. В городах живые прокладывали водопроводные трубы, рыли котлованы для новых домов, в деревнях вспахивали пустоши и находили черепа, кости, скелеты. Земля возвращала тех, кого упрятали в нее двадцать лет назад. И тогда раздавался телефонный звонок в Управлении КГБ, в кабинете, где на письменном столе, под стеклом — газетная вырезка со словами Фучика: «Об одном прошу тех, кто переживет это время: не забудьте. Не забудьте ни добрых, ни злых, терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и за вас». [168]

И казалось, что давно уже собраны все свидетельства, и живые исполнили свой долг перед мертвыми, и весь мир уже об этом забыл, а здесь, в кабинете, внимательно рассматривали снимки простреленных навылет черепов и затылочных костей, входные отверстия, выходные отверстия, изучали истлевшие, извлеченные из земли документы. И все это жгло, наполняло этих людей фронтовой яростью, и для них все еще продолжалась та война с фашизмом, которую мы закончили в сорок пятом году…

Но *Алоис* был пока только именем, а за двадцать лет имя могло видоизмениться, сжаться, исчезнуть вообще или, напротив, раздуться, приобрести «вес»: двадцать лет прошло, кто посмеет напомнить?..

Они двинулись по следам зондеркоманды, начали с Мариуполя и прошли весь ее путь — через Таганрог, Ростов, Краснодар, Крым, Белоруссию. Они приходили в райкомы партии, в райисполкомы и сельсоветы, в клубах собирали население и прямо, без обиняков, говорили: «Мы ищем убийц… Расскажите, что у вас было…»

Приходили старики и старухи — двадцать лет назад они были родителями, у которых фашисты убили детей. Приходили взрослые мужчины и женщины — двадцать лет назад они были детьми, у которых фашисты убили родителей. Они вспоминали внешность палачей, их повадки, методы.

В Люблинском воеводстве, в Польше, к населению обратилась по радио и телевидению прокуратура:

— Не будьте равнодушными! Это касается всех! Следствию нужна ваша помощь…

Так стало известным и то, что зондеркоманда [169] делала в Польше. Они опросили сотни свидетелей, отделили достоверные факты от слухов и вымыслов и продолжали свой поиск. И однажды к имени «*Алоис* » прибавилась фамилия — «*Вейх* ». И выплыло отчество — «*Карлович* »…

Но в глухом районе Кемеровской области, в леспромхозе, пилорамщиком был Вейх Александр Христианович, и он перевыполнял нормы, и его выбрали в местком. Он жил аккуратной, ровной и добросовестной жизнью, хорошо зарабатывал и хорошо выполнял свои обязанности по линии месткома. И он считал, что так надо, потому что человек, кем бы он ни был, всегда должен быть добросовестным, все нужно делать хорошо, любую работу. Надо очень стараться в этой жизни, и тогда ты будешь на хорошем счету, и если ты будешь хорош и ровен с людьми, то и с тобой будут хороши. И надо учитывать обстоятельства и не вступать в пререкания с жизнью и с людьми, надо быть бережливым, аккуратным и выполнять свои нагрузки.

И только одно обращало на себя внимание: что, хорошо зарабатывая и занимая не последнее место в леспромхозе, Александр Христианович ни разу, в течение восемнадцати лет, не выезжал в отпуск, на курорт или хотя бы в другой город; он словно прирос к этому глухому поселку в девяноста километрах от железной дороги и даже в Кемерове бывал крайне редко. И еще: ни он, ни его жена не писали и не получали ни от кого писем, как если бы они были одни во всем мире и не имели ни родственников, ни друзей, ни знакомых.

Но когда в этом отдаленном районе появился приехавший из Краснодара капитан (вот он куда [170] добрался) и, сам волнуясь, ждал свидания с Вейхом, председатель райисполкома уверял его в том, что это ошибка и этого не может быть потому, что у Александра Христиановича совершенно не подходящий для такого дела характер, и внешность отнюдь не зловещая, и он все-таки не Алоис Карлович, а безусловно Александр Христианович.

Все же Вейха вызвали в райцентр «по делам месткома», и он приехал с тетрадочкой куда вписывал пожелания и предложения, вошел в кабинет к председателю райисполкома и увидел за столом незнакомого человека в военной форме. И когда капитан, узнав Вейха по «словесным портретам» и трофейной фотокарточке, обнаруженной в эсэсовских архивах (Вейх за

восемнадцать лет и не изменился почти), сказал ему: «Здравствуйте, Алоис Карлович», — он хотя и побледнел, но вежливо ответил: «Здравствуйте!»

Так *Алоис* из бесплотной тени, из имени, затерянного в тоннах бумаг, превратился в обвиняемого Вейха А. К. (он же Вейх А. Х.), который в 1941 году изменил Родине, перешел на сторону врага, как «фольксдойче» вступил в зондеркоманду, был неизменным спутником Кристмана во всех операциях и

«- С сентября по октябрь 1942 г. в гор. Краснодаре дважды принимал участив в удушении советских граждан в машине «душегубка», каждый раз по 60 чел., которых он, совместно с другими палачами, выводил из подвала, раздевал перед загрузкой донага, а тех, которые сопротивлялись, подвергал истязаниям…

— В октябре 1942 г. был назначен переводчиком и направлен в гор. Анапу, в созданную там группу зондеркоманды СС 10-а… По пути в Анапу принимал участие в расстреле трех захваченных эсэсовцами партизан…

— Глубокой осенью 1942 г. выезжал на операцию в станицу Гостагаевскую, где по имевшемуся у гитлеровцев списку арестовал более 100 советских граждан из числа советско-партийного актива и членов их семей. Всех арестованных затолкали в «душегубку»…

— Проходя службу в анапской «зондеркоманде», зверски избивал допрашиваемых, в том числе задержанного советского десантника. В последующем десантник вместе с другими советскими гражданами был расстрелян…

— На анапском аэродроме трижды принимал участие в расстреле советских граждан (каждый раз по 18–20 человек)…

— Незадолго до бегства из Анапы, в декабре 1942 г., принял личное участие в зверском уничтожении большой группы советских граждан, арестованных эсэсовцами за связь с партизанами… Арестованных вывезли на автомашинах за станицу Анапскую и в каменоломнях, недалеко от шоссейной дороги, возле хутора Тарусина, расстреляли всех. Вейх убивал людей из пистолета. По окончании расстрела он увидел среди трупов раненого, но еще живого ребенка и убил его…

— В июле 1943 г. в дер. Костюковичи, Мозырьского района, БССР, принимал участие в аресте ста пятидесяти жителей деревни — женщин, стариков и детей — и лично бросал живых людей в колодцы…

— Летом 1943 г. участвовал в карательной операции в одном из населенных пунктов, недалеко от г. Мозыря. Эсэсовцы стреляли по убегавшим из деревни в лес советским гражданам. Все раненые, с личным участием Вейха, были убиты. Возвратившись в село, задержали оставшихся, водворили в один из домов и расстреляли через окна, а дом подожгли…

В это же время были захвачены супруги-партизаны, фамилии которых не установлены. Вейх и другие каратели истязали их резиновыми шлангами до тех пор, пока у жены

партизана не открылись преждевременные роды, а муж не потерял сознания. На следующий день партизаны были расстреляны…

— В дер. Жуки вместе с другими карателями в течение двух недель в бывшей колхозной конюшне расстрелял более 700 советских граждан…

— Осенью 1943 г. в районе гор. Биалы, Люблинского воеводства, арестовал 15–20 польских патриотов, двое из которых были повешены на дереве… [172]

— Весной 1944 г. за несколько дней до Варшавского восстания выезжал в гор. Варшаву, где принимал участие в обысках и арестах польских патриотов…

— Принимал участие в конвоировании на расстрел 300 узников еврейской национальности, взятых из лагеря смерти Майданек…

— За ревностную службу гитлеровцам, а также за активную карательную деятельность летом 1944 г. был назначен командиром взвода Кавказской роты СД, принял немецкое подданство{8} и фашистским командованием был награжден железным крестом…»

Теперь против всех этих эпизодов, некогда зарегистрированных как безымянные зверства фашистских захватчиков, стояла фамилия — «*Вейх* ». И он ничего не отрицал, а добросовестно и спокойно помогал следствию. Но один раз (это было, когда его привезли на опознание местности в хутор Тарусин, где он добил раненого ребенка) Вейх не выдержал и заплакал, так как, не зная законов, вообразил, что его сию минуту здесь расстреляют…

…Валериана Давидовича Сургуладзе арестовали в день свадьбы. Уже гости сидели за столом и вино было налито, когда перепуганная невеста шепнула:

— Там тебя спрашивают…

И родственники удивились: в чем дело?.. Только сам Сургуладзе не удивился: он этого ждал много лет и даже с какой-то веселой поспешностью, как бы отталкивая от себя невесту, гостей, свадебный стол, прыгнул в машину — туда, к себе, на встречу с самим [173] собой, потому что все это — и гости, и невеста, и свадебный стол — было не его, а другого, ненастоящего и надоевшего ему за восемнадцать лет Сургуладзе. Настоящий же Сургуладзе весной 1942 года окончил шпионско-диверсионную школу в Освенциме, под номером 65 числился в списках гитлеровского разведоргана «Цеппелин», служил карателем в зондеркоманде СС 10-а в Краснодаре и в Мозыре, в Люблине стал командиром взвода Кавказской роты СД, — словом, три года, никуда не сворачивая, шел по избранной им «стезе», горячо и убежденно выполнял свои беспощадные обязанности, пока обстоятельства не заставили его, уже в Италии, за две недели до конца войны, переметнуться к итальянским партизанам — гарибальдийцам, а после войны два месяца служить в Советской Армии и почти два десятилетия жить жизнью, с которой он не имел уже ничего общего.

И поскольку для человека нет ничего отраднее, чем возможность быть самим собой, Сургуладзе испытывал теперь нечто похожее на облегчение. Правда, из *карателя, совершающего злодеяния* , он превратился в *карателя,*

отвечающего за свои злодеяния , но это был все же *он* , а не вымышленная, нелепая в своей неестественности фигура жениха…

Обвинение складывалось по эпизодам, и следователи подмечали, как зажигается Сургуладзе, когда перед ним *оживают* картины прошлого. Он не то чтобы вспоминал, а *видел* тот обрывистый берег Кубани в станице Марьянской, куда приехал с Кристманом на расстрел семей партактива, и как он прикладом подталкивал их к берегу, стрелял из винтовки, и как тела ухали в Кубань. [174]

И бой в Полесье он видел, в деревне Павловке, где в доме на лесной опушке засели партизаны… Кристман велел ему вместе с другими переодеться в партизанскую одежду. Они подкрались к дому, и Сургуладзе через окно рассмотрел, что в комнате сидят пять человек. Он постучал. Дверь отворилась, и когда он, войдя в помещение, крикнул: «Руки вверх!» — началась перестрелка, во время которой были убиты командир эсэсовского взвода и четверо партизан, а пятого, раненого, они схватили и на веревке потащили за собой. С этого дня Сургуладзе стал взводным…

Он видел Польшу… Двор люблинского СД, полячку Гелю. Вот *та* была его жена, и *там* была его свадьба, когда в их честь палили из автоматов, шеф Гейнриц принес поздравления от имени «великой Германии», а потом все поехали в местечко под Влощев. На площади, возле костела, сидел в открытой машине польский предатель в маске, в черных очках. Мимо него медленно, как на церковном шествии, проходили жители городка, и он взмахом руки определял, кто из них связан с партизанами и должен быть расстрелян, а кого надо оставить в живых.

Все это было перед ним во плоти, единственное его достояние — *картины прошлого.* И только глубоко укоренившееся в нем убеждение, что на допросах глупо быть откровенным и что нет такой ситуации, из которой он, Сургуладзе, не мог бы выпутаться и выйти живым, заставляло его вести шумную перебранку со следователями, торговаться из-за каждого эпизода и, сидя в камере, по волоску выщипывать усы, чтобы не быть опознанным на очных ставках. [175]

Но его узнавали, и на очной ставке Алоис Карлович Вейх укоризненно качал головой и, словно на заседании месткома, увещевал:

— Как же так, товарищ Сургуладзе? Мы же с тобой вместе участвовали. Я могу утвердительно сказать…

Так они проваливались один за другим и выдавали друг друга.

…Псарева разыскали в Чимкенте, Дзампаева — в Осетии, Буглака — в Краснодаре. Из этих трех Псарев представлял, пожалуй, особый интерес. Двадцать два года назад, в оккупированном Таганроге, восемнадцатилетний Псарев влюбился в германскую армию, в немецкие сапоги, парабеллумы, портупеи, в немецкие мотоциклы, в офицерскую немецкую выправку, в «черепа и кости» гестаповцев. Это была сила, железная власть техники, спорта, «эстетика» расстрела. Он нанялся на службу к эсэсовцам (тетка его привела к гестаповскому офицеру, который стоял у нее на квартире: «Пристройте племянника»). Сначала он чистил немцам сапоги, был у них за денщика, потом его стали брать на операции, и он все более

«германизировался» и в зондеркоманде слыл любимчиком офицеров и самого шефа.

В нем и сейчас еще пели губные гармоники и звучали «Jawohl», «Zu Befehl», «Melde gehorsamst!» — ничего не выветривалось, — и, работая в Чимкенте прорабом, он смотрел на себя вовсе не как на изменника и преступника, который скрывается от суда, а как на военнослужащего германской армии, находящегося в вынужденной отставке.

На работе его считали «служакой», «военной косточкой», и. только опытный глаз заметил и определил, [176] какого происхождения эта «косточка» и какого он рода «служака»…

Псарев был женат на дочери уважаемого человека, вошел в хорошую семью. Его жена преподавала в институте, и те, кто нащупали и разыскали Псарева, испытывали теперь двоякое чувство. С одной стороны, радостно было, что удалось обнаружить такого преступника, в таком прочном «доте», а с другой — нелегко наносить удар по семье: можно себе представить, какое будет для этих людей потрясение, когда они узнают, *кого* они приняли в свой дом…

«Брать» Псарева пришли на работу, вызвали в канцелярию. Псарев — не по возрасту (тридцать девять лет) грузный, лысый, одетый во френч и в хромовые, командирские сапоги. Когда узнал, в чем дело, тут же попросил позвонить жене, чтобы она принесла ему на дорогу хлеб, сало и, если достанет, полукопченой колбасы. И, получив эту передачу, успокоился и уже ни разу в течение всего следствия не вспоминал больше свою семью и Чимкент, потому что теперь, когда его разоблачили и опознали, какая ему могла быть от них польза, какой толк? В нем другая заиграла струнка. *Попав в плен* , он решил держаться до конца, ни в чем не раскаиваться и все отрицать. Таким его и предавали, вернее — передавали, суду: нераскаявшегося, неразоружившегося, обложенного со всех сторон свидетельскими показаниями, уликами и «документальными данными»…

…С Дзампаевым и Буглаком было проще. Вызванный к следователю на другое утро после ареста, Емельян Буглак на традиционный «вступительный» вопрос, как он провел ночь, улыбаясь, ответил:

— За восемнадцать лет первый раз выспался. [177] А то какой там сон? Человек под окном пройдет, калитка скрипнет — дрожишь, вскакиваешь: идут!..

В Краснодаре он появился не так давно — долгие годы кочевал по стране, менял адреса. Почувствовав приближение старости, разыскал двух своих дочерей и поселился у них. Они отца почти не помнили, слышали только, что до войны он был знатный конник, которого возили с конем в Москву демонстрировать образцы джигитовки (от тех лет сохранились его призы и грамоты), а когда началась война, исчез — разные по этому поводу ходили слухи. Вернувшись домой, Буглак сказал дочерям, что был ранен, попал в плен, потом жил в Сибири.

Так он в Краснодаре «легализовался», и потянулись (неизвестно куда, к чему *потянулись*) дни, ночи, месяцы, а между тем в Люблине, в Польше, гражданка Квятинская рассматривала переданную ей прокуратурой фотокарточку человека в немецком кителе и в кубанской папахе и узнавала

того карателя, который пришел с немцами в их деревню и в сарае сжег молодого партизана-поляка. И в самом Краснодаре нашлись старожилы, которые рассматривали эту же фотокарточку и тоже опознавали «низенького такого карателя в кубанке», который «якшался с немцами и в душегубку людей загонял», и в следственных материалах появлялись о Буглаке все новые и новые записи…

Дзампаев не работал нигде, шатался по селам, торговал крупным орехом. Это был странный, всклокоченный человек с птичьим лицом. Когда за ним пришли, он не то что *отдался* , а прямо-таки *упал* в «руки закона», словно хотел наконец обрести оседлость. Медицинская экспертиза признала его вменяемым, [178] и он, напрягая память, сквозь полудрему рассказывал о своей службе в зондеркоманде и о Кристмане, который был «ростом небольшой, а чином большой», и о том, как офицер Макс в Варшаве привел их к какому-то дому и они оттуда забрали повстанцев. И все это, если вдуматься, было невероятно, чудовищно, хотя бы из-за одного того, что житель осетинской деревни Урузбек Дзампаев мог иметь *отношение* к Кристману, к зондеркоманде, к оккупированной Гитлером Варшаве и ко множеству других явлений и фактов, именуемых «*немецким фашизмом* ».

Эта противоестественность их связи с гитлеровцами усугубляла вину каждого из подсудимых, которые ведь не для того родились на свет и не для того были предназначены, чтобы стать прислужниками немецких фашистов. Здесь было совершено преступление против природы, против самого естества: измена Родине, кровным связям, предназначению в жизни…

Теперь их собрали всех вместе, девять человек: Вейха, Буглака, Сургуладзе, Скрипкина, Псарева, Еськова, Жирухина, Дзампаева, Сухова. И казалось, что в суд их везут прямо из войны и не было этих восемнадцати «промежуточных» лет, потому что если «мертвые остаются молодыми», то и преступления убийц не стареют; давние их дела кровоточат еще и сегодня…

* * *

10 октября 1963 года, в 8.30 утра, к краснодарскому Дому офицеров, к «артистическому входу», подъехали два тюремных автобуса. Выстроились усиленные наряды милиции. Высыпали из машин — [179] бегом, бегом, как по тревоге, — заняли свои места конвоиры.

Лязгнуло внутри автобусов железо.

— Выводи Вейха!..

Быстро, не оглядываясь, выпрыгнул — руки за спиной — моложавый, с тонкими розовыми ушами Вейх, за ним — в светлых брюках, в коричневых новых ботинках Скрипкин, мрачноватый Еськов в тельняшке, в зеленом штопаном свитере — Сухов… Все они к началу процесса «подтянулись», их только что выбритые, розовые от возбуждения лица казались подкрашенными, как у покойников…

Их ввели в зал, усадили на скамью подсудимых, за деревянный барьер. Этот барьер должен был стать последним в их жизни рубежом, последней границей…

Краснодарский процесс начался.

* * *

…Читали обвинительное заключение. Десятки тысяч убитых, расстрелянных зондеркомандой, отравленных газом шли из бесстрастного судейского текста в зал, обступали скамью подсудимых: «Мы!..»

Шли, стуча костыликами, палочками, удушенные дети Ейска, утопленные в колодцах дети Мозыря, шли в гнойных бинтах, в изодранных гимнастерках военнопленные лагеря Цемдолина, юные подпольщики Таганрога и старики Люблина, прихрамывая, шел Филипп Комков, шла девушка из Херсона — партизанка Людмила Воеводина — «Ляля», комковская сподвижница, и милиционер Александр Кукоба, повешенный в Абрау-Дюрсо, шел, беззвучно шевеля губами — *беззвучно* не оттого, что был призраком, а оттого, что перед казнью эсэсовцы вырвали ему язык…[180]

Люди в зале плакали. Пригорюнились и подсудимые, вспоминая страшные сцены. Сейчас они чувствовали всю неловкость своего положения: надо бы вроде проявить «сознательность» и вместе со всеми высказать возмущение «фашистскими зверствами», но мешает деревянный барьер, да и что скажешь, когда «биография запятнана» и все равно не поверят.

На следствии было лучше. Там хоть можно отвести душу со следователем, который за месяцы следствия становился как бы хорошим знакомым: называет по имени-отчеству и, если сдадут нервы, успокоит и нальет воды из графина. А здесь все чужие: и судьи, и прокуроры, и публика.

Словом, они переживали то, что обычно переживают все преступники, стоящие перед судом: жалость к себе, которую сами они ошибочно принимают за раскаяние, и убежденность в том, что существуют какие-то особо сложные, недоступные постороннему пониманию причины их преступлений. Из всех человеческих трагедий убийцы наиболее тяжелой считают не трагедию жертв, а свою собственную: «*трагедию палачей* ».

Инстинкт самооправдания заставляет их верить в злосчастную силу обстоятельств, в несправедливость судьбы, которая одних людей вынуждает «пачкаться», а другим дает возможность всю жизнь ходить «чистыми».

Их спросили, признают ли они себя виновными. Семеро ответили утвердительно; Псарев виновным себя не признал; Жирухин сказал: «Признаю», — но тут же, подумав, что совершает оплошность, добавил: «Частично».

Суд приступил к допросам… [181]

Вейх отчитывался. Восемнадцать лет он аккуратно, под тремя замками, хранил в «кладовой памяти» факты, имена, даты и теперь выкладывал их целехонькими, не тронутыми временем. Были у него припрятаны потрясающие, не ведомые никому истории о том, например, как умирал Калашников из Щербиновского партизанского отряда, с петлей на шее призывавший народ бороться против захватчиков, и как пекла партизанам хлеб старуха Пашкова Мария Федоровна, тоже впоследствии повешенная, и рассказ о мальчишке-десантнике, которого расстреляли в Анапе.

Опустошив «кладовую», он почувствовал удовлетворение, как если бы добровольно передал эти истории «в дар государству», и у него появилась надежда, что все это зачтется и его оставят в живых, так как он может

принести большую пользу, рассказывая молодому поколению о героизме уничтоженных им советских людей.

Но когда судьи и два прокурора стали во всех подробностях выяснять его личное участие в зверствах, он затосковал и отвечал на вопросы тихим, грустным голосом, потому что стеснялся людей и не привык выступать в роли преступника. Он всегда был передовым, образцовым, всегда его ставили в пример — и в зондеркоманде и в леспромхозе. И ему не хотелось, чтобы судьи о нем думали плохо. Он рассказывал:

— Малолетние дети, обхватив ручонками колени своих матерей, *душераздирающе* кричали: «Мамочка!» — а их подталкивали к обрыву и расстреливали. Я задал вопрос следователю Марханду, зачем расстреливают детей. Он мне ответил, что это дети [182] наших врагов и они не принесут пользы Германии, в России надо все уничтожать с корнем, в том числе и детей.

Он посмотрел на публику, на представителей прессы: такие «свидетельства очевидца» чего-нибудь да стоят! Затем продолжал:

— Среди трупов я увидел мальчика, который был только ранен в шею, крутил головой и размахивал руками. Я доложил об этом немецкому офицеру Кайзеру, и он сказал, что я должен знать, что в таких случаях делают. Из жалости к ребенку я пристрелил его из пистолета…

Общественный обвинитель спросил, почему он изменил Родине, вступил в зондеркоманду.

Вейх задумался. Неожиданно его осенило, он вспомнил прочитанную в какой-то газете статью «Струсил — стал предателем» и ответил уверенно:

— Прежде всего это можно объяснить тем, что я по натуре трус. Из-за трусости я стал служить в карательном органе, из-за трусости стал убивать ни в чем не повинных советских граждан только для того, чтобы спасти свою жизнь.

Он был доволен собой …

* * *

Скрипкин производил тягостное впечатление: стоял какой-то деревянный, с одеревеневшим, выдвинутым вперед подбородком, зажав в правой руке стакан, из которого пил беспрерывно.

Он не жалел себя, не жалел и своих «подельщиков» и, когда его спрашивали, участвовал ли такой-то из подсудимых в той или иной операции, [183]решительно и зло отвечал: «Был. Участвовал. Лично участвовал. Я сам видел…»

Возможность «разоблачать» была теперь его единственной страстью, последним удовольствием, и он пользовался этим вовсю, добивая своими показаниями тех, кто еще пытался спастись.

Прокурор спросил, помнит ли он Кристмана и может ли вкратце «обрисовать» его как человека. Скрипкина это удивило…

— Гражданин прокурор, что я могу сказать о его внутренних качествах, если он имел высокое звание доктора юридических наук, а занимался такими делами, и не избегал хотя бы, хотя бы, — он осуждающе вознес над головой

палец, — того, чтобы самому расстреливать? Я уже показывал следственным органам об его участии в Ростове. Тогда же, на моих глазах, он застрелил одного нашего полицейского, который отказался грузить в душегубки женщин…

Услышав об этом, адвокат задал Скрипкину вопрос: была ли вообще возможность уйти из зондеркоманды? Но Скрипкин, не уловив интонации защитника и довольный тем, что говорит не кривя душой, ответил:

— Была возможность бежать… Я мог убежать. Мог… Но, совершив такие преступления, куда ж я мог бежать? Говоря по-мужски, честно: я боялся…

В тот день я получил письмо из Феодосии — отклик на мою статью о процессе, напечатанную в «Литературной газете». Учительница Р. Шестакова писала:

«Страшные воспоминания о пережитом и глубокое волнение от мысли, что еще одна волчья стая настигнута карающей рукой правосудия, заставили меня взяться за перо и молить Вас не называть в дальнейших [184] Ваших отчетах, статьях о процессе этих выродков, убийц, палачей и подонков словами *люди* , *человек* …»

Но они и сами еще тогда, восемнадцать лет назад, знали, что «ошакалились», что стали «нелюдями», и поэтому не предъявляли к себе никаких этических требований, а рассуждали примерно так: нам теперь все можно, мы подлецы, выродки — какой с нас спрос?

Перейдя на сторону фашистов, то есть добровольно перешагнув через главный рубеж, который отделяет человечность от бесчеловечности, они сочли себя свободными от всех нравственных норм и свое участие в зверствах воспринимали как логическое следствие того «первого шага», который освободил их от звания «человек» и привел в зондеркоманду.

Собственно, этим они и отличались от эсэсовцев-немцев, которые вбили себе в голову, что являются не просто людьми, а «сверхчеловеками» и на своих жертв смотрели как на «недочеловеков». Здесь же все было наоборот: никто из предателей не сомневался в том, что те, кого они убивают, во множество раз лучше и выше их, что это и есть *люди* , а сами они и немецкие их шефы — мерзавцы и свиньи, но при этом были убеждены, что в «такое время» свиньей быть выгодней, чем человеком…

* * *

Скрипкина сменил Еськов. Подошел к микрофону, начал рассказывать свою историю. У него была страсть исповедоваться, изливать душу и с годами не утраченная потребность в старшем, в наставнике, который бы его урезонивал, выслушивал и давал советы. И он [185] весь потянулся к судье, который слушал его с каким-то грустным вниманием.

Еськов говорил горько, зло, с обидой на жизнь. Его память сохранила множество подробностей, но рассказывал он не столько о том, что он делал, сколько о том, что делалось у него в душе. И он огорчился, даже крякнул с досады, когда судья, выслушав его пространное вступление, возвратил его к сути и стал заново вспахивать каждый эпизод, содержащийся в обвинительном заключении.

Факты были убийственны: удушение двадцати подростков, участие в расстреле военнопленных — тех самых моряков-севастопольцев, с которыми Еськов когда-то служил, подсаживание в камеры. К тому же выяснилось, что Еськов в карательном взводе занимал не последнее место, а, напротив, пользовался кое-какими привилегиями и «поощрялся по службе». Рядом с такими фактами вообще ничего не весили и не значили никакие слова, никакие объяснения.

Между тем Еськов хотел, чтобы его поняли, чтобы все знали, как он тогда переживал, тяготился, что «участвовал» он только потому, что «*был молодой, глупый и не мог найти выхода* ». И, чтобы не быть голословным, он попросил суд разыскать кого-нибудь из семьи Пекарь.

— В этой семье, — пояснил Еськов, — я в Краснодаре проводил все свободное время, особенно вечера, по возможности помогая этим людям продуктами, так как находил у них моральный отдых. И если они живы, то пусть сами расскажут, что я был за «каратель» и под какой удар себя ставил…

И через несколько дней, когда начался допрос свидетелей, к удивлению Еськова, в зал была приглашена [186] Евгения Михайловна Пекарь{9}. Она явилась как с курорта — загорелая, пышная, в ярком платье. Разыскали ее, кажется, в городе Жданове: ошеломили вызовом в трибунал по делу *зондеркоманды*! Вот уж не думала, не гадала…

— Скажите, пожалуйста, кого из сидящих на скамье подсудимых вы знаете?..

Гражданка Пекарь медленно пошла вдоль барьера, напряженно вглядывалась в освещенные юпитерами лица преступников. Но никого не смогла узнать, покачала головой и вдруг истерически рассмеялась…

— По какому адресу вы проживали к моменту вступления в Краснодар германской армии?

— Сначала мы жили на Орджоникидзе, шестьдесят один. Первый день прятались в подвале, но к вечеру немцы всех нас, жильцов, выгнали во двор, офицер объявил, чтобы выносили вещи и к утру убирались. Позднее мы узнали, что наш дом берут под гестапо…

— Дальше что было?

— Ну, стали мы выносить вещи, жильцы помогали друг другу. Была кошмарная ночь. Никто не знал, что нас ждет. В городе немцы, кругом смерть. К утру выбрались, побрели по улицам с тележкой — папа, мама, я с сестрой. Пошли искать жилье. В одном доме нас побоялись впустить, говорили: «Вы — еврейка, нас могут расстрелять». Мама объяснила, что я не еврейка, только выгляжу так… Сейчас не помню, как мы устроились, нашли комнату. Папа у меня слесарь, он смастерил мельницу, стали молоть кукурузу… [187]

— Кто из служащих гестапо навещал вашу семью? Были вы знакомы с кем-либо из гестаповцев?

— Да, был какой-то Михаил, парень. Однажды он зашел к нам с приятелем и еще появлялся несколько раз. Мы никак не могли понять, чего ему от нас нужно. Он был очень скрытный, мама думала, что он партизан, и я тоже так считала. Как-то я сказала: «Форма у вас страшная!» — и он объяснил, что моряком, тяжело раненный, попал к немцам в плен и уже в госпитале стал охранником. Но мы ему все равно не верили и думали, что он партизан,

потому что он был какой-то необычный, вел с нами разговоры с каким-то намеком, а потом однажды пришел ночью, просидел часов до четырех утра и сказал, что решил от немцев бежать. С тех пор мы его больше не видели…

Еськов слушал, чуть усмехаясь, блестя стальными зубами. Дело в том, что он действительно был тогда для семнадцатилетней Жени загадкой — не то переодетым партизаном, не то заблудшим человеком с изломанной, несчастной судьбой. Ему эта игра нравилась, а кроме того, приятно было после дня тяжелых расстрелов, где жертвы тебя называют извергом и убийцей, прийти к голодным, запуганным людям и, вместо того чтобы арестовать их, вдруг самому перед ними поплакаться и наблюдать за их недоуменными лицами, когда они смотрят на тебя и не знают, кто же ты на самом деле есть.

Одного только они, конечно, не знали — что посещение частных квартир и отлучки из зондеркоманды были для Еськова заданием, что его для того и подсылали к людям, чтобы он выведывал настроения в городе и докладывал шефу. Но семью Пекарь он, [188] кажется, действительно пожалел, а может быть, другие у него были соображения — неизвестно…

— Еськов, встаньте!

Снова вспыхнули юпитеры.

— …Вот теперь узнаю. Только тогда он был молодой, а сейчас старый…

— Еськов! Свидетельница вызвана по вашей просьбе. Есть у вас вопросы?

— Какие у меня вопросы? — он махнул рукой.- Двадцать один год прошел, она все забыла. Мне нужно, вот я и помню, а ей чего помнить?

И, обращаясь к Евгении Михайловне, напомнил:

— В то утро, когда вас выталкивали из дома, я стоял на посту, вижу — девушка, вроде еврейка. Я вам. еще говорю: «Уходите отсюда скорей! Чего вы здесь крутитесь? Убьют вас!» А потом сменился, пошел вместе с вами и помог вам найти комнату, сказал, что вы — мои родственники. С тех пор стал бывать у вас, у вашего папы, жаловался, что не хочу на немцев работать…

— Но работали все-таки?

— А что я мог сделать?

Нелепый какой-то получился допрос. Но о чем могла рассказать Евгения Михайловна, да и к чему? Все же адвокатесса еще раз для порядка спросила:

— Итак, вы слышали, что Еськов недоволен службой в зондеркоманде?

— Я не знаю, помню только, что он хотел уйти к нашим…

В перерыве ко мне подошла адвокатесса:

— Странный человек этот Еськов. Знаете, о чем он меня сегодня спросил? *Удобно* ли в последнем [189] слове просить о снисхождении? Так и сказал: «Удобно ли?» И это после того, что они натворили!

…Захотелось посмотреть дом, где помещалась зондеркоманда. Пошел через осенний, заваленный листьями, красный Краснодар (красный потому, что — листья, потому, что — кирпич, розовая облицовка фасадов и названия улиц — Красная, Красноармейская) к розовому дому Управления пищевой промышленности и Стройбанка. Обычное учреждение, со стеклянными барьерами и окошками для бухгалтеров, кассиров, с машинистками и телефонными звонками, с учрежденческими коридорами, выкрашенными масляной краской. На эти стены ложилась тень Кристмана, а во дворе, где

рабочие нагружают сейчас на грузовик какую-то мирную кладь, зябли с винтовками в ожидании «погрузки» Скрипкин, Еськов, Сухов…

Попросил у женщины-завхоза разрешения осмотреть подвал — она открыла люк в коридоре (среди служащих Стройбанка остались отголоски смутных слухов о том, что здесь было при немцах «гестапо»); по крутым каменным ступенькам, пачкаясь о побеленные стены, спустились на каменное дно, где сейчас архив, склад деловых бумаг и ничто не напоминает о тех, кто ждал решения своей участи здесь, в глухом учрежденческом подземелье.

…Открывался люк, по каменным ступенькам они поднимались вверх, жмурясь от света, выходили во двор. Это была последняя встреча с солнцем: их заталкивали в машины и везли на территорию совхоза № 1, к противотанковому рву.

В одну из таких «загрузок» (произошло это перед самым отступлением немцев, причем так торопились, [189] что не успевали раздевать обреченных, заталкивали прямо в одежде) Сухов приметил мальчика.

Сухов был человек любознательный и, подсаживая людей в душегубку, иногда спрашивал шепотом: «За что они тебя, а?» Или: «Вас по какому делу?» Но никто ему обычно не отвечал, и тот мальчик тоже не ответил.

Теперь, на суде, я узнал, что мальчика звали Володей, — его казнили за то, что у себя в школе он создал подпольную антифашистскую группу. Но он не стал отвечать на вопрос Сухова не только из презрения к палачу, но и оттого, что боялся обратить на себя внимание: полою пальто он прикрыл трехлетнюю девочку, которую тоже затолкали в душегубку, и Володя надеялся, что, когда пустят газ, пальто ее защитит. А может быть, он просто хотел уберечь девочку от страшного зрелища смерти. Их потом так и обнаружили вместе в противотанковом рву…

…Вот что происходило здесь, в этом доме, в этом дворе, *всего* двадцать лет назад и вот о чем шла речь на процессе и ради чего нужен был процесс: чтобы рвы не набивали трупами, чтобы мученическая смерть не уносила безвинных, чтобы жизнь не калечила, не уродовала людей, чтобы подвалы были хранилищами овощей, угля, архивных бумаг, а не тюремными казематами и камерами смерти.

Но те, кто все это делал, кто действовал тогда, опираясь на тупую силу приклада, выглядели сейчас слабыми, и они били на слабость, каждый из них только и рассчитывал на то, что они проймут судей своей слабостью и что удастся доказать, что не сила, а бессилие является основным свойством человека.

И Сухов, хватавший в Краснодаре и в Ейске детей [191] (на суде он встретился с Леонидом Дворниковым — свидетелем, который в Ейске вырвался от него и уполз за цветочную клумбу, чтобы выжить и через двадцать лет прийти в суд и узнать своего палача), этот Сухов старческим, надтреснутым голосом говорил, что «*происходил цельный кошмар* », «*дети плакали* » и сам он чуть ли не плакал, когда «*положил одну девочку к самому краю* », но ничего не мог сделать и ничем не мог ей помочь. И угрюмый вешатель Буглак, про которого говорили, что у него пониженный интеллект и повышенная жестокость, рассказывая, как он вешал польского партизана

(«вообще-то *не вешал, а только так — подправил петлю* »), вдруг, широко разведя руками, сказал:

— А что я мог сделать? Десятки государств ничего не могли сделать…

И все они, все эти девять сильных кулаками и телом мужчин, служба которых состояла в том, чтобы убивать безоружных и беззащитных, старались внушить только одно — что «*ничего не могли сделать* » и что убивали они только оттого, что оказались слабыми, слабее больных ейских детей, слабее старух Таганрога и стариков Мозыря. И что совершили они страшное злодеяние — тысячи убийств — из единственного побуждения: жить.

Стоя перед судом, они возводили свою слабость и шкурничество в абсолютный закон, то есть намекали на то, что при известных обстоятельствах *такое* может произойти с каждым человеком и никто не застрахован от того, чтобы стать убийцей.

Но, говоря так, они не подозревали, что по-своему излагают одну из самых опасных и самых ходовых [192] «теорий» нашего времени, которую взяли на вооружение все палачи и все бандиты мира, рассуждающие о том, что человек слеп и бессилен перед лицом обстоятельств. То есть они будут убивать, загонять в концлагеря, рвы, в душегубки, поливать атомным огнем не оттого, что они плохие, а оттого, что обстоятельства им так диктуют. А сами они в душе хорошие и рады бы этого не делать, и, убивая, они будут нас жалеть и даже оплакивать, а мы за это должны их «понять и простить».

И вся суть *Процесса* в том и заключалась, чтобы доказать, что нет таких обстоятельств, которые оправдывают убийство, предательство и человеческую низость…

* * *

В Краснодар приехал Глеб Степанович Васильев — бывший начальник новороссийской гауптвахты, у которого служил когда-то Жирухин. Васильев жил теперь в Керчи, на пенсии, работал общественным страховым агентом. Услышав по радио, что идет процесс и судят Жирухина («Вот ты когда отыскался!»), тут же позвонил в прокуратуру, и его вызвали свидетелем…

Мы поселились в одной гостинице. По вечерам Васильев ко мне заходил, рассказывал о том, как «все это» тогда произошло и как вместо Жирухина на другой день прибыла к нему в подразделение Клавдия Наточий.

В то утро, когда Жирухин, проснувшись у своей Валентины, увидел в окно немцев и решил «устраиваться», в то самое утро, на той же улице, тех же самых немецких автоматчиков увидела кассирша местного военторга Клавдия Наточий. И она ужаснулась [193] от того, что на руках у нее оставались не только старуха мать и малолетняя дочь, но еще и крупная сумма казенных денег, которую Клавдия, по причине эвакуации банка, не успела сдать. И вот она взяла резиновую грелку, заложила туда деньги, бросилась в море и на автомобильных скатах, под обстрелом, вплавь добралась до Кабардинки, где ее, совсем уже ослабевшую, выудили васильевские патрули. Она съездила в Туапсе, сдала под расписку деньги в милицию, а потом Васильев «своей властью» зачислил ее вместо «выбывшего» Жирухина…

* * *

Приближался приговор, финал процесса. Допрошены были Сургуладзе, Буглак, Дзампаев. Жирухин продурачился целый день на допросе — коршунами кинулись на него Еськов и Скрипкин, стали изобличать, и Скрипкин, измаявшись с Жирухиным, наконец просипел:

— Стыдись! У тебя ж высшее образование!..

Постепенно интерес к подсудимым со стороны публики стал ослабевать: эпизоды повторялись, все уже было, в основном, ясно. И подсудимые тоже попривыкли к своей скамье и к процедуре суда — каждый день их привозили в Дом офицеров, как на работу, и они эту работу выполняли в меру своих способностей и «совести», причем почти не сомневались в том, какой будет приговор, так как день за днем на них глыбами наваливались факты, выбраться из-под которых невозможно. Только Псарев все еще никак не оттаивал.

Председательствовал на процессе полковник Малыхин, человек спокойный и опытный. Псарева он [194] решил «взять» логикой. Его допрос в моих отрывочных записях выглядит так:

…П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Так где же вы попали в зондеркоманду?

П с а р е в. В Ростове.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Вы обвиняетесь, Псарев, в том, что уже в Ростове участвовали в расстрелах населения.

П с а р е в. Это неправда. При мне в Ростове не было ни арестов, ни расстрелов.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Так для чего же тогда существовала зондеркоманда?

П с а р е в. Я не знаю.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Скрипкин, подойдите к микрофону. Речь идет об участии Псарева в расстрелах в Ростове. Что вы знаете по этому поводу?

С к р и п к и н. В Ростов я прибыл в июле 42-го года, вместе с Федоровым — взводным. Первого, кого я встретил из русских предателей во дворе зондеркоманды, так это Псарева. Потом во время расстрела мы стояли с ним рядом.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Вы не ошибаетесь?

С к р и п к и н. Это впервые в жизни, когда я этот кошмар увидел, разве такое забудешь? Там была вся команда.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Слышали, Псарев? Что скажете?

П с а р е в. Я отрицаю. Скрипкин меня оговаривает.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. В чем же дело, Псарев? [195]

П с а р е в. Я не знаю. Я там не был. Я бы сам признался, без него…

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Как вы попали в Краснодар?

П с а р е в. Нас ехало человек десять, две машины с немцами и переводчиками. В Краснодаре еще шли бои, город еще не был взят, и машины гестапо расположились в нескольких километрах, развернулись на всякий случай ходом на Ростов. Ждали, пока займут город.

Вступили в Краснодар, в бывшее отделение милиции по улице Коммунаров. Офицеры сразу же побежали искать внутреннюю тюрьму. В Краснодаре я также нес караульную службу.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Кем же вы были, зачем приехали?

П с а р е в. Мы были вроде полиции, только назывались так — гестапо…

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Но кто вами командовал? Кто были ваши командиры?

П с а р е в. Переводчики. Командиров прямых не было.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Что же вас, из города в город переводчики возят и нет никакого командира?

П с а р е в. Не было.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Значит, самый главный начальник у вас переводчик? Он вас возит, решает, когда вступать в Краснодар?

П с а р е в. Нет, были и офицеры.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Наконец-то. Какие ж это офицеры? Вам-то что-нибудь сказали, зачем вы приехали, чго будете делать? [196]

П с а р е в. Нам ничего не говорили, но мы так поняли, что будем охранять помещение.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Пустое помещение? А чем же офицеры занимались?

П с а р е в. Не знаю.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. И никого не приводили, не расстреливали?

П с а р е в. Нет.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. И это называлось гестапо? Собралась группа бездельников, кормят вас, поят, и вы ничего не делаете? Гестапо в Краснодаре пустую тюрьму охраняет!

П с а р е в. Я узнал потом, что туда стали доставлять заключенных.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Это другое дело. Так вот: вы обвиняетесь в том, что с вашим участием в Краснодаре были расстреляны сотни мирных граждан, Вам ясно обвинение? Признаете себя виновным?

П с а р е в. Нет.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Но что вы были в Краснодаре, это установлено. И вы ничего не знали?.. В августе 42 года вы и другие в противотанковом рву расстреляли тридцать человек.

П с а р е в. Не знаю ничего.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Еськов! Что вы скажете по этому поводу?..

Еськов с готовностью вскакивает; он уже в «активе» и доволен тем, что суд то и дело обращается к нему за уточнениями.

Е с ь к о в. Участвовал Псарев! Ты Юрьева помнишь? Высокий, седой эмигрант Юрьев. Он и возглавлял эту операцию. Ему захотелось лично пострелять тех, кого должны были удушить. Вот он и взял [197] тридцать человек, вывез в ров — сам стрелял, потом нам приказали…

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Слышали?

П с а р е в. Слышал. Это неправда. Я не был…

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Дальше вы обвиняетесь в том, что в поселке Гайдук раздевали, подталкивали в ров, стреляли и закапывали даже живых. В течение двух дней расстреляна была тысяча человек…

П с а р е в. Я только наблюдал эту сцену, сам не участвовал. Помню, выехали из Новороссийска по направлению к Гайдуку, свернули вправо или влево, метров четыреста. Там уже стояла группа наших офицеров: Эмиль, Унру, Николаус, помощник шефа — такой старый, похожий на Гитлера, морда перекошена, а среди переводчиков — Оберлендер. Вскоре пришел первый автобус — бывшая «скорая помощь». Не доезжая метров пятнадцати, стали ссаживать по пять человек. Людей заставляли раздеваться, подводили к тому месту, где стояли офицеры. Раздавались *очередя.*Так я впервые увидел этот ужас. Когда первую машину расстреляли, принялись за вторую… Под конец дня шеф заставил закапывать трупы. Я очень испугался, мне страшно было, и тогда Федоров сказал: «Ну ладно, грузи вещи…» А Еськов стоял около машин, стаскивал людей и подгонял ко рву. Некоторых за руку тащили переводчики…

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. А сами вы что в это время делали?

П с а р е в. Я стоял в оцеплении.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Еськов!..

Е с ь к о в. Правильно Псарев говорит, он стоял в оцеплении. Но в каком оцеплении? Подвозят автобус, [198] они окружат его, заставляют раздеваться, гонят людей к траншее и расстреливают. И я стрелял. Куда ж денешься?

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Так, Псарев?

П с а р е в. Нет, он наговаривает.

Е с ь к о в. Что ж я, на себя самого наговариваю? Вон позови психиатра, пусть проверит,- может, я с ума сошел?..

Судья чуть улыбается, и в публике легкий смешок.

Подсудимые заволновались: вот черт Еськов, подобрал-таки ключ, пожалеет его Малыхин, и уже Сухов тянет руку, тоже проявляет «активность» и ехидно вонзает в Псарева вопросец:

— А скажите-ка, Псарев, на какой день по вашем приезде началась операция?

Но получается это у него неуклюже, и вопрос его ни к чему, и Малыхин этот вопрос отводит…

И так во всех деталях уточняется сцена расстрела в Гайдуке — кто где стоял и кто что делал, и все эти детали чрезвычайно важны потому, что решается вопрос о жизни и смерти.

А я думаю об Оберлендере (это не тот «знаменитый» Оберлендер, а всего лишь однофамилец — Гельмут Оберлендер, переводчик зондеркоманды, вроде Вейха). Оберлендера нет сейчас на суде, как нет многих карателей из зондеркоманды СС 10-а — Шаова Ахмеда, Тимошенко Григория, Залесского Ивана, Коопа и Рябова, которые живут, никем не наказанные, в Западной Германии, в Бразилии, во Франции, в Соединенных Штатах Америки и в Парагвае. И вот Псарев, который тогда, в Гайдуке, стоял на расстоянии одного шага от Оберлендера, прижат к деревянному барьеру, и Еськов суетится около [199] микрофона, и через несколько дней грянет над ними приговор, а Оберлендер от всего этого избавлен. Давно уже он не каратель и не преступник, он архитектор: окончил в Западной Германии институт, перебрался в Канаду, где строит для богатых заказчиков виллы по индивидуальным проектам, и далекими кажутся ему Россия и этот процесс. Он свое отстрелял, и теперь живет спокойно, и, наверно, так рассуждает, что всему свое время и на все свои заказчики. А что касается тех тысяч и десятков тысяч людей, которых он когда-то убил, то что же делать? Им просто не повезло. Так всегда в жизни: кому-то везет, а кому-то нет.

И я вспоминаю свою недавнюю — за четыре месяца до Краснодара — поездку в Штутгарт, где в районе целебных источников Бад-Канштадт, на Таубенгеймштрассе, 51, своими глазами видел Вальтера Керера, о котором сейчас без конца говорят на процессе.

Он подкатил к дому на «мерседесе» с женой, с дочерью. Это была обычная семья, был жаркий июньский день, равнодушно светило над Штутгартом солнце, и в ту самую минуту, когда я *узнал* в плотном, самодовольном мужчине Вальтера Керера, который в одном только Майданеке — *ради забавы!* — приказал в течение трех суток (ночью убивали при свете ламп) расстрелять *тридцать тысяч* человек, в ту самую минуту, когда я его узнал, ничего, ровным счетом ничего не произошло: не грянул гром, не закатилось солнце. Керер спокойно посмотрел на меня, наши взгляды встретились…

Я зашел в кафе, на котором была укреплена вывеска с фамилией «Керер», и у каждой официантки на фартучке синими нитками было вышито «Керер», [200] и на тарелках, на ложках, на стаканах для пива значилось «Керер», и люди ели пирожные Керера, пили кофе Керера; могли ли они предположить, что все в этом кафе — от линолеума на полу до модных, современных светильников и фартуков официанток — было приобретено на золотые коронки, изъятые из провалившихся ртов трупов, на обручальные кольца, снятые с выломанных пальцев, на сережки, вырванные из ушей женщин?..

(Керер командовал карательной ротой, начальствовал над Сургуладзе, и Псарев одно время тоже был у него в подчинении…)

* * *

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Псарев, в каком году закончилась ваша служба у немецких фашистов?

П с а р е в. Мой путь закончился в 44-м году, в Чехословакии.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Что же получается? Три года немцы возили вас по маршруту Ростов — Краснодар — Новороссийск — Крым — Мозырь, кормили, одевали — и все это делалось для Псарева, который ничего не делал для немцев? Есть здесь логика, что вас, бесполезного человека, немцы за собой таскали? Сургуладзе говорил, что если кто не толкает в душегубку, его самого толкнут, а как же вам удавалось всего избегать? Вам самому не кажется странным такое наивное поведение немцев? И это в карательной команде, специально предназначенной выполнять палаческие функции?

П с а р е в. Я после всего этого ужаса боялся.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Вы боялись, но немцы-то не боялись. [201]

Е с ь к о в (с места). Если боялся, чего же ты тогда не убежал, а до 45-го года таскался за ними? «Боялся, боялся», как маленький…

П с а р е в. Это мое дело.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Где вы женились?

П с а р е в. В Новороссийске, в ноябре 42-го года. Не я женился, меня женили. Я женился — четыре дня не знал, как подходить. Потом тетка меня научила. (*В зале смеются.*)

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Это не так уж важно. Это дела ваши личные. А вот свадьба у вас была?

П с а р е в. Какая там свадьба…

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Гости были?

П с а р е в. Были. Шеф, Скрипкин, Федоров.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й, Какой шеф?

П с а р е в. Новороссийской команды.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Значит, кто же у вас был в гостях? Шеф, командир взвода — Федоров, помкомвзвода — Скрипкин. Как же получилось, что руководящий состав почтил своим вниманием такого нерадивого солдата? Как это все связать вместе?

П с а р е в. Шефа я пригласил, чтобы он нам дал чего-нибудь спиртного. Федоров и Скрипкин выпить любили. А кроме того, моя бывшая жена работала там, и они ее все знали. А шефу я сапоги чистил. Ему и другим.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. До сих пор мы слышали, что русские близко подходить боялись к этим шефам, а к вам они на свадьбу идут… Вы в Абрау-Дюрсо в казни Кукобы участвовали?

П с а р е в. Не был я там.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Еськов! [202]

Е с ь к о в. Был Псарев. Арестовывал людей, сгонял на казнь, расстреливал. Почему у него шеф на свадьбе гулял и почему Еськова не пригласил он на свадьбу? Он в числе передовых был, раз шеф к нему на свадьбу пришел…

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Так участвовали вы в казни Кукобы или нет?

П с а р е в. Не участвовал. Видел только, как пальто его несли.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Вы обвиняетесь в том, что конвоировали Кукобу на казнь, сгоняли на площадь население, а потом приняли участие в расстреле этого населения.

П с а р е в. Этого не могло быть.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. А свидетели и подсудимые видели вас в тот день в Абрау-Дюрсо.

П с а р е в. Не подтверждаю.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Скрипкин!

С к р и п к и н. Был такой случай… (Псареву.) Почему вы говорите неправду? Я говорю, а у меня сердце жмет. Но когда-нибудь надо отвечать перед советским народом, перед советским судом.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Ну, что скажете, Псарев?

П с а р е в. Я не участвовал.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Значит, и на эту операцию вам удалось не поехать? Расстрел польских граждан в Люблине, на стадионе…

П с а р е в. Слышал об этом, но сам не был.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Буглак, подойдите к микрофону… Помните этот эпизод?

Б у г л а к. Как же не помнить. [203]

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Участвовал Псарев?

Б у г л а к. А как же не участвовал! Он всегда участвовал. Бывало, придешь к нему, даже если после работы, скажешь: «Николай, тут яму надо выкопать, пострелять», — он без слова идет.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. И там, в Люблине, пошел?

Б у г л а к. И там пошел. А как же?

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Что это были за люди, которых тогда расстреливали?

Б у г л а к. Вот этого не могу припомнить.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Как они вели себя перед смертью?

Б у г л а к. Не знаю. Не наблюдал.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. А выглядели как?

Б у г л а к. Да не могу я описать. Угрюмо выглядели.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Но были эти люди в чем-либо виноваты?

Б у г л а к. В чем они могли быть виноваты? Совершенно невинные были люди…

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Вейх! Что вы можете сказать об участии Псарева в люблинской акции?

В е й х. Псарев был одним из активнейших. Если партизан какой бежал, Псарев готов был в огонь лезть, чтоб догнать…

К допросу приступил прокурор.

* * *

П р о к у р о р. Скажите, Псарев, выходит, что вы служили немцам всей семьей?

П с а р е в. Почему всей семьей? [204]

П р о к у р о р. Что делала ваша жена?

П с а р е в. Она служила в зондеркоманде уборщицей, поварихой, стирала белье… Я не знал тогда, семья это или нет. Жил — и все.

П р о к у р о р. Когда вы расстались со своей женой?

П с а р е в. В сорок четвертом году…

* * *

…Для полноты картины пришлось вызвать в суд первую жену Псарева; два года назад, с новым своим мужем, она возвратилась из Австрии, где прожила шестнадцать лет, прожила, да не прижилась, и, как она рассказывала, все эти шестнадцать лет там — в Вене и в Зальцбурге, а некоторое время и в городе Ливорно (Италия) — об одном только мечтала, как бы вернуться. И когда она узнала, что на таких, кто сам не стрелял, распространяется амнистия, тут же списалась с домом, и ей обещано было, что устроят ее проводницей на линии Ростов — Новороссийск.

Она и работала теперь проводницей общих вагонов.

Явилась в суд — чистенькая, остренькая, в белом воротничке, чем-то похожая на немку. Метнула острый взгляд на Псарева — и уже больше на него никакого внимания (что он ей!), и отвечала только суду.

— Что вам известно, чем занимался Псарев?

— Я не спрашивала его, и он не говорил. Потом только узнала.

— Что вы узнали?

— Что эта команда занимается истреблением мирных жителей.

— Выезжал Псарев на операции?

— Выезжал. [205]

— А может быть, дома сидел?

— Нет, выезжал. Бывал на операциях.

— Сколько раз? Один? Два?

— Нет. Больше.

— Что же это были за операции?

— Не знаю. Кажется, против партизан. Возвращаясь домой, говорил, что ничего хорошего нет, много с нашей стороны погибло.

— Из вещей он вам привозил что-нибудь?

— Из вещей я всю дорогу от него ничего не имела…

— На вашей свадьбе кто-либо из немцев присутствовал?

— Я их не знала. Был один офицер и один с кухни, с ним невысокого роста женщина…

— Скажите, вам приходила когда-либо мысль о том, что вы неправильно поступаете, что служите во вражеской армии?

— Я об этом никогда не думала. Шла следом за ним, как с завязанными глазами…

— Что представлял собой Псарев как человек?

— К нему все товарищи были хорошего отношения. Он ни с кем не скандалил, с ним никто не скандалил…

— Был ли такой случай, что вы с Псаревым собирались бежать из зондеркоманды?

— Я этого не помню…

Псарев взмолился:

— Может, вспомнишь? На станции Джанкой мы с Андрюшенко хотели бежать…

Поморщилась, подумала с минуту и опять-таки, не глядя на Псарева, ответила суду:

— Какой-то разговор был. Но точно не помню… [206]

По вызову суда из Мозыря приехала Екатерина Михайловна Титова. Во время войны она жила в деревне Кочище, в трех километрах от деревни Жуки. Навсегда ей запомнилась оккупация, вторжение в их деревню немецких солдат, грабежи, казни. Жителей стали вывозить — кого на расстрел, кого на фашистскую каторгу. Население покинуло деревню и ушло в леса; днем прятались в болотах, ночью выходили на сухое место.

За ними охотились. Каждую ночь немцы прочесывали леса. Тех, кого вылавливали, пригоняли в деревню Жуки. Там в колхозной конюшне расстреляли около семисот человек. Десять больших ям было забито трупами.

Екатерина Михайловна не знала тогда о существовании зондеркоманды СС 10-а. Она говорила — «фрицы, фашисты». Фашисты забрали ее отца и сестру.

Однажды ночью крестьяне увидели в лесу эсэсовцев. Старушка Бондажевич не могла бежать, она легла, родственники прикрыли ее хворостом, а сами спрятались в чаще. Когда они вернулись утром к этому месту, увидели, что старушку Бондажевич фашисты сожгли…

Председательствующий вызвал к микрофону Буглака:

— Ну, Буглак, правильно показывает свидетельница?

Буглак ответил:

— Эта операция была делом наших рук…

Екатерина Михайловна посмотрела на подсудимых: гады!..

Дарья Семеновна Енькова видела, как собирают [207] в Ростове на сборный пункт евреев. Она жила на улице Энгельса, в доме 60.

— Приходили евреи туда с вещами, ценностями и ключами от своих квартир.

Она сказала:

— Соседи знают, что я еду свидетелем на процесс, они наказывали мне рассказать суду всю правду и просить, чтобы этим извергам не было никакой пощады…

Киреева Ульяна Тимофеевна жила в Ростове, в поселке 2-я Змиевка, возле Песчаного карьера.

9 августа немцы велели всем жителям уйти на один день из поселка. Ульяна Тимофеевна побоялась оставить свой дом без присмотра, из поселка не ушла — спряталась в Песчаном карьере, в яме.

10 августа она услышала над собой выстрелы: в яму с обрыва падали окровавленные тела, их сбрасывали оттуда, сверху. В ужасе Ульяна Тимофеевна поняла, что происходит расстрел и к ее ногам падают мертвые дети.

Председательствующий спросил Скрипкина:

— Это вы там стреляли?

Скрипкин встал:

— И я в том числе…

* * *

Прибыли еще свидетели, бывшие сослуживцы подсудимых. Одни приехали сами, отбыв «от звонка до звонка» десяти — пятнадцатилетние сроки, других привезли под конвоем из дальних колоний, и этот процесс был для них как бы отдыхом.

Сухаренко освободился всего месяц назад; он был с часами, в новом, только что купленном костюме, в [208] новой рубахе-ковбойке. Отвечая, по привычке держал руки за спиной.

Барановский уже двадцать лет отбывал наказание (в свое время, учитывая его молодость и раскаяние, расстрел ему заменили двадцатью пятью годами). В синем кителе, стриженый, с обветренным широким лицом, он похож был на молодого солдата и бодро отвечал:

— А в нашей команде все были палачи, а уж Вейх, Псарев, Сургуладзе — в особенности…

Сургуладзе ненавидяще смотрел на него. Даже Вейх не выдержал, прокричал:

— Я стрелял, совершенно верно! Я не отказываюсь. Но вы сами что делали? Неужели один Вейх стрелял? Или вы мою фамилию стали называть после того, как она на пластинку попала? — Он жестом изобразил, как крутится пластинка. — Теперь скажите: были случ?и, что Вейх заставил выпустить скотину, возвратить ворованную корову? Знаете вы, что Вейх ни одной пуговицы себе не взял, ни одной тряпки с убитых не присвоил, все сдавал на склад?..

Барановский ухмыльнулся:

— Вы его слушайте больше. Известное дело — бандит, ищет себе оправдания. Никто грабежей не пресекал. И Вейх тащил что под руку попадет!..

Вейх только головой покачал: «О человеческая низость! О люди, люди!..»

…Ввели Пушкова, свидетеля по делу Сургуладзе, Буглака и Псарева, — с ними он прослужил до 1944 года, пока не перешел во власовскую армию, где стал офицером. Ему, также «с учетом молодости», расстрел был когда-то заменен двадцатью пятью годами, и он все еще отбывал срок… [209]

— …Вам приходилось участвовать в операциях?

— Так точно. К концу службы в моей солдатской книжке значилось около сорока операций.

— В чем выражалась операция?

— Грабили, убивали, снимали с трупов одежду… Как правило, Вайх добивал раненых. Что касается Псарева, то необходимо отметить, что во время облав на партизан его нередко переодевали в советскую форму, из провокационных соображений снабжали советским оружием…

И с холодной четкостью заговорил о Сургуладзе, своем задушевном приятеле, с которым вместе ходил в атаку на партизанские пулеметы и два года подряд делил страх и надежду:

— Среди присутствующих здесь обвиняемых наиболее близким человеком к оберштурмбанфюреру Кристману был Сургуладзе. Его поощрил даже генерал СС Вальтер Биркамп, который часто приезжал к нам в Люблин. Я считаю своим долгом подчеркнуть, что из рук Биркампа Сургуладзе получил три бронзовые медали и одну серебряную — Bandenkampfab-zeichen. Вайх (он говорил на немецкий лад — *Вайх*) также был награжден…

И опять Вейх не выдержал, попросил слова.

— Я не *отрицаюсь* … Я не отказывался и не отказываюсь. Но у меня вопрос к свидетелю: за что *вы* были награждены?

Пушков вопросительно посмотрел на судью: отвечать? — и не совсем твердо сказал:

— Я был… за то, что, когда, находясь в окружении…

Вейх движением пальца отмел:

— Э, нет!.. [210]

Но все это не имело значения, так как судили сейчас не Пушкова, а Вейха. И Пушков это знал и поэтому был совершенно спокоен. Все они, эти свидетели, были спокойны и равнодушны не только к своим бывшим сослуживцам, но и к себе, к своим преступлениям, потому что знали, что формально повторной ответственности не подлежат и лично им ничто уже больше не угрожает. И, рассказывая об ужасных вещах, о чудовищных «эпизодах», никто из них не волновался и — *за ненадобность* ю — не демонстрировал ни раскаяния, ни угрызений совести, ни сочувствия к жертвам.

В этом смысле подсудимые держались иначе. На них уже лежала тень *неизбежности* , которая все смягчает, на все накладывает свой отпечаток и любого заставляет задуматься над прожитой жизнью. Но стоило выпустить их из-за деревянного барьера, снять с них бремя ответственности, как они тут же выпрямились бы, отшвырнув от себя всю свою горечь и «трагедийность», и пошли бы дальше по жизни, никого не жалея и ни о ком не печалясь, потому что жалеть они умеют только себя и тогда только становятся похожими на людей, когда попадают за деревянный барьер, под «ярмо закона».

Впрочем, у этих девяти были свои причины сетовать на судьбу, так как из всех преступлений их преступление оказалось самым «невыгодным», самым непосредственным и явным. Куда денешься, если руки в крови и ты стрелял? Тут самая очевидность преступления не дает вывернуться и уйти от возмездия. А у скольких руки не в крови, ни пятнышка крови нет на руках, разве что след от чернил, которыми написаны приказы и «теоретические обоснования». А есть [211] и такие, у которых вообще никакого пятнышка нет, кто просто «умыл руки» и ни в чем не участвовал — только молча наблюдал, как убивают и душат других. Но все они — организаторы и теоретики убийств, молчальники и подпевалы — внесли свою «лепту» в беду человечества и создали на земле ту ситуацию, при которой Сухов мог волочь в душегубку ейских детей, а Скрипкин — расстреливать военнопленных.

Ведь все, что делала зондеркоманда, было конечным результатом огромной подготовительной работы по уничтожению людей, и в огромной машине смерти эти девять были самыми малыми винтиками. Но так как

человек не должен и не может быть винтиком, которому все равно, в какую машину его вставят и в каком колесе он будет крутиться, никому из них не было оправдания, и мертвые предъявляли им счет. Исход был ясен еще до начала процесса: для того, кто раскаялся, смерть — избавление, а для нераскаявшегося смерть — кара.

* * *

Двое суток — с 22 по 24 октября — совещались судьи, и вместе с ними вершили свой нравственный суд тысячи людей, которые в Краснодаре и за его пределами следили за ходом процесса.

Подсудимые ждали решения своей участи; не спали, почти не притрагивались к еде, только Псарев ел и спал и за двое суток прочел столько книг, сколько не прочел за всю свою жизнь. И, может быть, эти книги оказали на него «благотворное влияние», и он, возможно, даже кое-что понял. Но было уже поздно.

Еськов попросил карандаш и бумагу и писал [212] стихи, которые никому уже не были больше нужны, так как личность подсудимого Еськова считалась полностью выясненной и все его преступления — установленными и доказанными в судебном заседании.

А потом грянул приговор, сталью сверкнули наручники, и по улицам Краснодара двинулись тюремные машины, увозя осужденных. [213]

Из архивов гестапо

ДВА ПИСЬМА, НАПИСАННЫЕ ПЕРЕД КАЗНЬЮ

1. Письмо Николая Кузнецова, бывшего ученика школы имени Чехова (Таганрог).

Дорогая мамочка, родные и близкие, друзья! Пишу вам из-за тюремной решетки. Полиция узнала, что мы с Ю. Пазоном спалили дотла немецкий вездеход с пшеницей, автомашину, крали у немцев оружие, убили изменника Родины, совершили диверсии. За это нас повесят или в лучшем случае расстреляют. Но ничего! Гвардия погибает, но не сдается… Все равно Красная Армия будет в Таганроге…
Май 1943 г.

2. Письмо молодого немецкого крестьянина.
3 февраля 1944 г.
Дорогие родители!

Я должен сообщить вам печальное известие о том, что я приговорен к смерти, я и Густав Г. Мы отказались записаться в СС, поэтому они приговорили нас к смерти. Вы сами писали мне, чтобы я не вступал в СС, и мой товарищ Густав тоже не записался. Мы хотим скорее умереть, чем запятнать свою совесть такими зверствами. Ведь я знаю, чем занимаются эсэсовцы. Ах, дорогие родители, как все это тяжело для меня и для вас, простите меня, если я вас в чем обидел, пожалуйста, простите и молитесь за меня… [214]

ПО ТУ СТОРОНУ ЛЕГЕНДЫ

В таганрогском гестапо канцелярией — «шрайбштубе» — заведовал молодой зондерфюрер Георг Бауэр. Он прибыл в Таганрог в феврале 1943 года, вскоре после событий на Волге: возвращался из Германии, из отпуска, в полевое гестапо на станцию Чир, но Чир к тому времени был уже взят русскими, полевое гестапо разгромлено, и отдел «1-с» вновь сформированной 6-й армии направил Бауэра для прохождения дальнейшей службы в Таганрог, к Брандту.

Бауэру было девятнадцать лет, он родился в городе Оппельн (Силезия), рано потерял родителей и воспитывался у тетушки. Он принадлежал к той категории молодых немцев, которые выросли и духовно оформились при Гитлере и никакой другой, «нефашистской», жизни не знали, представить себе не могли, что можно жить иначе. Это была действительно «особая» молодежь, избавленная от свойственных юности поисков истины, раздумий над «смыслом [215] бытия», от каких-либо сомнений и умственной самодеятельности. Все этим юношам было ясно, все истины для них найдены, сомнения устранены. Они считали себя счастливцами, увлеченные игрой, в которую играла тогда вся Германия. Каждый чувствовал себя приобщенным к «великой цели», каждый «выполнял миссию», каждому было внушено, что он не просто человек и не просто немец, а deutscher Mensch{10} (был такой термин), и этот бессмысленный по существу термин невольно к чему-то обязывал, наполнял жизнь людей особым содержанием, придавал особую окраску самым обычным поступкам. Здесь разум был выключен, действовало только чувство, и культ чувства, не замутненного, как они выражались, «умствованием» и «крохоборческой логикой», проповедовался на каждом шагу.

Годы, вошедшие в немецкую историю как позорная и мрачная пора варварства, пыток и казней, многими немцами искренне воспринимались как «эпоха национального подъема». Искусственно взвинченное чувство оказалось сильнее разума, «слепая вера» — сильней очевидности. Более того: способность действовать вопреки очевидности, наперекор логике и здравому смыслу считалась особым свойством «немецкого человека», свидетельством его превосходства, признаком его целеустремленности и политической сознательности.

Писатель Ганс Иост писал тогда восторженно:

«Вопреки всему и всяческому опыту, этому опыту наперекор, в противовес всяческим хитросплетениям разума и всевозможным расчетам, вопреки вероятию, [216] в кратчайший срок из единого сердца выросло новое государство, его величие, его безусловная тотальность. Этот пример волшебной силы чувства и веры в чувство способен сокрушить все сомнения. Мы стоим на пороге нового века».

Ослепление и в самом деле приняло характер психоза. Ликвидация безработицы (за счет рабского труда в концлагерях и военизации страны), незначительная прибавка жалованья или пенсии, какой-нибудь «айнтопф» — обед из одного блюда, бесплатно выдаваемый школьникам в дни нацистских празднеств, воспринимались как неслыханная забота «нового государства» о своих подданных, строительство пресловутой автострады и военных заводов — как чудодейственный взлет экономики. Смотрели на то, что «дает»

фашистское государство, и научились не думать о том, что оно «берет» взамен…

Для народа нет большего несчастья, чем подобный психоз, эпоха фиктивного подъема, за которую приходится расплачиваться не только кровью и утратой материальных ценностей, но и долгими годами упадка, неверия уже ни во что, всеобщей опустошенностью, боязнью вообще какой-либо идеологии, безразличием к политике, тягой к мещанскому благополучию и нигилизмом.

Но это — уже «похмелье», а в 1938 году бродил еще «хмель». В 1938 году произошел «аншлюсс» — захват (без единого выстрела!) Австрии, и в Нюрнберге, на «партайтаггеленде», от которого сегодня сохранились лишь обломки бетонных трибун, на гигантском стадионе, состоялся митинг немецкой молодежи. 60 тысяч юношей и девушек со всей Германии собрались в Нюрнберге, и среди них, в числе [217] знаменосцев, был — тогда пятнадцатилетний — Георг Бауэр. Он и через четыре года, на Восточном фронте, служа в полевом гестапо на станции Чир, вспоминал этот самый яркий день в своей жизни, яркий, несмотря на дождь, который обложил город и лил всю ночь и все утро: под дождем набухли флаги, знамена, транспаранты, и в палаточном лагере, где разместились участники празднества, вода была по колено. И вот под проливным холодным дождем двинулись из палаточного лагеря в город 60 тысяч человек: 9000 кандидатов нацистской партии, 50 000 членов «гитлерюгенд» и тысяча «пимпфов» — объединенных в нацистскую организацию учеников младших классов. Они шли через старый Нюрнберг с его пряничными домами, шли мимо старинной крепости. И чем сильнее хлестал дождь, тем выше они поднимали свои знамена и старались петь как можно громче, потому что это шествие было, по существу, репетицией, тренировкой к другому походу, когда уже не под дождем, а под огнем пулеметов они пойдут на штурм всего мира; на их транспарантах было написано: «Сегодня нам принадлежит Германия, завтра будет принадлежать весь мир!»

Колонны вступили на стадион: слева — с черными знаменами — «юнгфольк», справа — с красно-белыми — «гитлерюгенд». У почетной трибуны знаменосцы встретились, цвета флагов смешались, только один флажок пылал в стороне — «знамя Герберта Норкуса», обтрепанный лоскут, с которым юный Герберт Норкус погиб на берлинской улице в стычке с «большевиками». Грянула песня «Lang war die Nacht» — «Ночь была долгой», затем с ближайшего аэродрома в небо поднялись самолеты и пролетели над головами [218] собравшихся. Праздник начался. К «своему юношеству» прибыл Гитлер…

Фюрера Георг Бауэр боготворил — в пятнадцать лет он знал «Майн кампф» почти наизусть. Его била нервная дрожь, когда он читал главы о юношеских скитаниях Гитлера, о первых годах его борьбы. Чего не пришлось пережить этому великому человеку! Да, только такой человек, который испытал на себе войну, безработицу, человек, вышедший из «низов» и перестрадавший всеми страданиями, которые выпали на долю народа, мог встать во главе новой Германии и смело повести ее навстречу будущему.

Теперь этот кумир, которому поклонялись и отдавались («Бери нас!», «Веди нас!», «Делай с нами что хочешь!») миллионные толпы, находился от Георга Бауэра в двух шагах. Верные дисциплине, юноши и девушки замерли, не смея шелохнуться, пока фюрер обходил строй, только у мальчугана, стоявшего справа от Бауэра, по щекам текли слезы. Но когда фюрер поднялся на трибуну и репродукторы голосом Гитлера произнесли: «Я доверяю вам безгранично и слепо!» — напряжение сменилось разрядкой. Из шестидесяти тысяч сердец вырвались наружу крики восторга, шестьдесят тысяч человек выхватили свои походные ножи и застучали по ножнам, приветствуя фюрера…

Этот день сыграл большую роль в жизни Бауэра. С этого дня он становился не просто мальчиком и не просто «юным гитлеровцем»: он получил как бы титул «участника слета», «знаменосца», и, когда вернулся к себе в Оппельн, все остальные ученики и даже преподаватели смотрели на него как на избранника. Теперь он был в своем классе чем-то вроде почетного ученика, что сопровождалось для него всевозможными поблажками, привилегиями, но и массой нагрузок: то он должен был выступать с рассказом о слете в Нюрнберге, то его назначили ответственным за проведение военной игры в младших классах…

Все это вовлекало его в бурную *государственную* деятельность, и чем больше он этой деятельностью занимался, тем больше дорожил ею и своим особым положением. Он уже не мыслил себя рядовым школьником, обычным человеком; быть на виду, на «главном участке», стало для него потребностью, и неудивительно, что, достигнув определенного возраста, Бауэр записался в СС, потому что СС — это и есть самый «главный участок», самая сердцевина фашистского государства.

На втором году войны Бауэр некоторое время служил в Польше, а затем, как уже сказано, в одном из полевых гестапо на оккупированной территории Советского Союза…

* * *

Возвратившийся из отпуска и назначенный на должность начальника шрайбштубе таганрогского гестапо, Георг Бауэр вполне соответствовал тем представлениям, которые можно составить о нем, ознакомившись с его биографией. Он был инициативен, решителен и свои обязанности выполнял с максимальной самоотдачей. Хотя и не очень это ответственная должность — начальник гестаповской канцелярии, Бауэр в короткий срок сумел придать ей в глазах сослуживцев важное значение, он как-то так повернул дело, что шрайбштубе стала в таганрогском гестапо чуть ли не главным участком. [220]

Этот фанатик, служа нацистской «идее», выжимал из своей скромной должности все, что мог. Не говоря уже о том, что он образцово вел делопроизводство, он взял на себя оформление протоколов допросов и приемку донесений от тайных агентов и информаторов, работавших среди местного населения, причем, передавая эти донесения комиссару Брандту, прилагал к ним свои, зачастую весьма оригинальные, разработки и выводы.

Было очевидно, что этот молодой человек собирается сделать большую карьеру на гестаповском поприще и стремится вникнуть во все детали новой для него работы. Он охотно брался за любое поручение, — например, участвовал даже в рыночных облавах на торговцев военным обмундированием, доставлял арестованных из полицейской или зондеркомандовской тюрьмы в здание гестапо и т. д.

Кроме того, он успешно изучал русский язык и по вечерам, когда остальные сотрудники отправлялись в кино или к женщинам, подолгу засиживался в своей шрайбштубе, выписывая в тетрадь русские слова и грамматические правила. Были у него и другие достоинства: безупречная память на имена, фамилии, на номера и названия воинских частей; его так и прозвали — «ходячий справочник». И еще: каждый свой поступок он подкреплял цитатами из Гитлера, Геббельса, Розенберга, он даже Ницше и Шпенглера читал, чем выделялся среди не слишком-то образованных гестаповцев.

Такой он был человек, этот Бауэр, что обязательно должен был чем-нибудь *выделяться* , и ему нравилось, что он выделяется хотя бы своей молодостью. Особенно же приятно было ему выделяться среди [221] армейских офицеров, которые всегда с некоторой опаской посматривали на людей в гестаповской форме. Бывало, приходит он по каким-нибудь делам в штаб дивизии, и пожилой генерал, которому подчинены полки моторизованной пехоты, танки и артиллерия, приветливо улыбается, потому что сильнее танков и артиллерии — крохотная бумажка, именуемая ордером на арест. С помощью войск можно занять город, завоевать обширную территорию, но нельзя завоевать Георга Бауэра — это будет государственной изменой. Георга Бауэра надо не завоевывать, а *покорять* — дружеским обхождением, улыбкой. Ведь никто не знает, зачем он, собственно, пришел, что у него на уме и что он скажет после того, как, поздоровавшись, осведомится о самочувствии собеседника.

Надо сказать, что полевое гестапо, или «гехайме фельдполицей», то есть тайная полевая полиция, занималось не только расстрелами. В задачу ГФП входила охрана штабов, личная охрана командующего соединением, представителей главного штаба, а также наблюдение за военными корреспондентами, художниками, фотографами, негласный и неусыпный контроль за тем, что они пишут, рисуют и фотографируют. Эта сторона деятельности ГФП, которая иным гестаповским «романтикам» казалась чересчур скучной и обыденной, увлекала Бауэра не меньше, чем самые эффектные акции. Он и к этой «текучке» относился с серьезностью.

В те месяцы таганрогское гестапо работало с полной нагрузкой: все кругом кишело подпольщиками, партизанскими связными, подозрительными, и комиссар Брандт аккуратно докладывал в «1-с», комиссару Майснеру, о количестве расстрелянных за день. [222]

Но все это было чистейшим очковтирательством: в большинстве случаев никто из этих расстрелянных никакого отношения к подпольщикам не имел, просто Брандт доказывал, что не зря получает свой паек и оклад.

Нередко это делалось так: схватят на базаре или на улице первого попавшегося русского, приводят в гестапо. Следователь спрашивает:

— Ты партизан?

— Нет, — отвечает русский.

— А в Красной Армии родственники у тебя есть?

— У кого же, господин офицер, нет родственников в Красной Армии? Ведь, когда началась война, всех призывали…

— А у тебя кого призвали?

— Племянника моего, Васильева Павла…

Следователь диктует, Бауэр хлопает на машинке: «Русский Васильев Александр, 64-х лет, через своего племянника Васильева Павла систематически поддерживает связь с войсками Советов…»

Протокол передают Брандту, и он накладывает резолюцию: «Umlegen» (уложить) или: «Umsiedeln» (переселить) — условные формулировки, означающие расстрел…

Но вот числа 10-го июля наметилась действительно серьезная операция, от которой зависела карьера и, может быть, вся дальнейшая судьба каждого сотрудника. От «лица», находившегося за линией фронта, в расположении советских войск, поступило донесение — шифрованный текст — о том, что русские начинают наступление с предварительной выброской парашютистов. Встреча десанта (ориентиры — костры из [223] соломы) возложена на местных комсомольцев-подпольщиков.

Было установлено строжайшее наблюдение за всеми выходами из города и окрестных деревень. Каждый направляющийся в район предполагаемой выброски десанта подлежал немедленному аресту. Была поднята вся агентурная служба, привлечены зондеркоманда, подразделения полевой жандармерии, войсковые части и городская полиция.

В один из этих вечеров Георг Бауэр, выйдя из помещения гестапо, направился на Елизаветинскую улицу. По дороге он остановил встречного танкиста-ефрейтора и велел ему следовать за ним.

Комендантский час уже начался, и Елизаветинская улица казалась вымершей, но в домах, за плотно закрытыми ставнями, шла своя жизнь, причудливая жизнь оккупированных. Здесь не было квартиры, комнаты, подвала и чердака, где в эту минуту не происходило бы нечто запретное, противоречащее приказам и распоряжениям оккупационных властей, нарушение которых каралось смертью.

Мужчина, сидевший у самодельного радиоприемника и слушавший вечернюю передачу из Москвы, был нарушителем приказа № 2 о запрещении слушания советских радиопередач. Юноша, который печатал на машинке сводку Информбюро, нарушал приказ № 4, запрещавший пользование множительными аппаратами, а его мать была нарушительницей приказа № 3, каравшего за недоносительство о враждебной германским властям деятельности. Девушка, которая стирала на кухне белье, была нарушительницей приказа № 2 о регистрации коммунистов и комсомольцев. Женщина, которая пришла к соседке с куском [224] мыла, чтобы выменять его на два стакана горелой пшеницы, являлась нарушительницей распоряжения № 156 о правилах торговли, а старик, который ничего не делал, а просто спал на печи, был нарушителем приказа № 361 о регистрации пенсионеров, инвалидов и престарелых. И только доносчик, который при свете

керосиновой лампы писал донос на своего соседа, действовал законно, хотя, впрочем, и он нарушал сейчас распоряжение № 520, запрещающее пользоваться «источниками света» после определенного часа.

Вот по этой улице, мимо этих домов, шел Бауэр со своим спутником, ефрейтором-танкистом, и ему казалось, что двери, ворота, калитки оцепенели в ожидании ночного стука, как цепенеют в ожидании удара спины, когда над ними занесен кулак…

Бауэр забарабанил в дверь низкой, чуть выше человеческого роста, мазанки. Внутри дома отозвались,- наверно, давно были готовы к этому *стуку* , все предусмотрели: что нужно, припрятали, унесли к знакомым, договорились между собой, как отвечать и как вести себя в случае «*их* » прихода.

Дверь отворил парень, в трусах и в майке, лет восемнадцати. Бауэр с ефрейтором, пропустив парня вперед, прошел в дом, где находились две женщины — бабка и мать.

Бауэр бегло осмотрел помещение, затем приказал парню одеться и вытолкал его на улицу…

Арестованного повели. Бауэр, достав из кобуры пистолет, шел сзади, ефрейтор-танкист — впереди. Возле городской полиции Бауэр отпустил ефрейтора, наградив его пачкой сигарет, а сам вместе с задержанным вошел в здание. [225]

Несмотря на поздний час, городская полиция была полна народу. В немецком гестапо работа при всех обстоятельствах заканчивалась в 17.00, распорядок соблюдался неукоснительно, русские же полицаи не знали отдыха ни днем, ни ночью.

Кого только не тащили в полицию, чтобы, продержав несколько суток в подвале, выдать на окончательное растерзание немцам или запороть «своей властью». Редко кто выходил отсюда живым.

Хромоногий Стоянов допрашивал истерично, истошно кричал и без конца названивел Брандту в гестапо — ни одного решения не имел права принять самостоятельно.

Немцы были в полиции хозяевами — и гестапо, и зондерксманда, и абвер. Здесь они принимали информаторов, вербовали агентов, назначали свидания «доверенным лицам».

Баузр кивком ответил на приветствие дежурного (полицаи приветствовали приложением двух пальцев к головному убору, право на «хайль Гитлер» имели только немцы), провел задержанного в одну из свободных комнат и запер за собой дверь.

Вот когда ему наконец пригодилось знание русского языка.

— Германские органы, — сказал Бауэр, — располагают данными о том, что вы принадлежите к подпольной большевистской организации. Вам понятно?..

Сперва гестаповец нажимал по всем правилам» угрожал расстрелом, уличал, назвал несколько фамилий подпольщиков. Парень, конечно, «никого не знал»; он живет с бабушкой, с матерью, работает в мастерской, ни с кем не встречается, Тогда Бауэр заговорил о парашютистах: [226]

— Завтра ночью… Костры из соломы…

Даже район выброски был известен.

Значит, их выдали, причем выдал кто-то из своих, самых проверенных. Это была катастрофа, полнейший провал. Проваливалась организация, на фашистские автоматы, в смерть, проваливались десантники. И сам этот парень, как в пропасть, проваливался в беспомощность, в слабость, в бездействие, потому что уже ничего не мог предпринять, никого предупредить не мог. Оставалось только молчать.

И вдруг:

— Великая Германия не хочет, чтобы ты — молодой человек — потерял голову… Мы не звери… Наш долг — предостеречь…

Гестаповец повеселел, почти доверительно стал рассказывать, сколько таких вот «ребят» пришлось перевешать и как они перед смертью, когда надеваешь им на шею веревку, всё еще верят в спасение, в то, что хотят их только напугать, но спасения никакого не бывает: просто вышибаешь из-под ног табуретку — и все. А еще расстреливают в затылок. Это делается так: выезжают за город, подводят к яме… Многие бы рады в такую минуту начать жизнь сначала, но уже поздно.

— А вот у тебя есть еще возможность, мы на тебя не смотрим как на пропащего…

Бауэр знал: сейчас допрашиваемый подведен к той грани, которую и не такие люди, как этот мальчик, переступали ради одного только *продления надежды на жизнь* , ради одной иллюзии, что еще не всё кончено…

Парень, однако, мялся, не принимал брошенный ему «канат». [227]

— Мы даем тебе шанс… Ты можешь продолжать даже работать в подполье. Но раз в неделю — один раз — будешь встречаться со мной. Ну?..

Нет. *Этот* не переступил *грани* , он уже сделал свой выбор и заученно повторял, что не знает никаких подпольщиков, редко выходит из дому…

Тем не менее зондерфюрер встал из-за стола, отпер дверь… Прошли мимо дежурного — на улицу.

— Иди домой и обдумай свое поведение… Через неделю зайдешь…

* * *

15 июля 1943 года комиссар Брандт докладывал комиссару Майснеру: «В районе предполагаемой выброски десанта никого обнаружить не удалось. Советские самолеты над указанным районом не появлялись…»

А еще через день стало известно, что русские перенесли наступление на другой участок фронта…

И Виктор Николаевич Миронов{11} рассказывает:

— Я тогда шел на крайний риск, вообще с подпольщиками я в прямую связь никогда не вступал — только через Большую землю, хотя находился от них в двух шагах. Но тут времени для раздумий не оставалось… Срыв операции я наметил по двум направлениям. Послал через линию фронта нарочного с сообщением о том, что дата выброски десанта и опознавательные знаки немцам известны, прошу не допустить провала. С другой стороны, надо было предупредить подпольщиков — вот я и приволок в полицию того парня, «побеседовал» с ним. Расчет у меня был, что парень, вернувшись домой,

расскажет о нашем разговоре своим товарищам и десант они встречать не пойдут, поскольку немцы их засекли. А что парень этот не подведет, я понял с первых минут допроса…

— А ефрейтора вы для чего взяли?

— Ну как для чего? Для надежности. Во-первых, приди я один, это показалось бы неправдоподобным, во-вторых, парень мог от меня сбежать по дороге — что бы я стал тогда делать? Не стрелять же мне в него. А тут я ничем не рисковал. Ефрейтор меня не знает: что за офицер, какой офицер? К тому же пришли мы не в гестапо, а в полицию: пусть он меня в случае чего там ищет!..

* * *

Я беседую с Виктором Николаевичем, с тем, который в Таганроге «продолжил» карьеру Георга Бауэра, прерванную на станции Чир в тот самый день, когда Георг Бауэр с отпускным удостоверением в кармане был захвачен в плен советскими солдатами.

Виктору Николаевичу было тогда, в 1943 году, всего двадцать лет, и это поразительно, как мальчишка, без всякого особого опыта, перехитрил кадровых немецких контрразведчиков.

Конечно, я, как только встретился с Виктором Николаевичем, сразу же в него «вцепился» — он был для меня драгоценной находкой, тем живым «легендарным героем», о котором мечтает каждый писатель. Впервые я услышал о нем в Краснодаре, но еще в Таганроге, разбирая гестаповские архивы, не раз встречал имя Бауэра, и когда однажды спросил, кто этот Бауэр и какова его дальнейшая судьба, мои [229] собеседники сперва переглянулись, потом рассмеялись:

— Да он же ваш земляк, живет в Москве…

Он многих «моих» персонажей знал, наблюдал «изнутри» — Брандта, Кристмана, доктора Герца; принимал донесения от Леберта, генерала Биркампа тоже видел не раз. Ничто не укрывалось от его глаз, и это есть «око возмездия», потому что неуютно себя должны чувствовать убийцы, зная, что живет на земле *Свидетель* …

Долгие вечера я просиживал с Мироновым, слушая его рассказы. Но меня гораздо больше, чем все эти злодеи, которых он так хорошо знал, интересовал он сам.

Представьте себе ситуацию: живет в Москве десятиклассник, сын рабочего с «Серпа и молота», комсомолец, воспитанный на «Чапаеве», на «No pasaran!», на Николае Островском, и вот этот мальчик, едва окончив школу, перевоплощается в Георга Бауэра, который там, в Нюрнберге, молился на «знамя Герберта Норкуса», в обожателя Гитлера, в эсэсовского карьериста.

Миронов показывал мне, каким он был Бауэром. На моих глазах полноватый сорокалетний мужчина с характерным русским лицом вдруг преобразился в молодого немца, в надменного и напористого гестаповского щеголя. Казалось, что у него не только голос и выражение лица, но даже уши и нос в эту минуту стали другими. И по-немецки он говорил удивительно — звонко, с выкрикиванием,- хотя поспешил заверить, что за двадцать лет многое уже подзабыл…

Но ведь одного знания языка, актерских способностей и умения проникать в чужую психологию здесь [230] недостаточно. Нечто более важное позволило Миронову сыграть свою роль, полтора года безошибочно исполнять смертельный номер.

Дело — в основе, в фундаменте его подвига, где предыстория так же существенна, как и сама история. У многих из нас была примерно та же «предыстория», что и у Миронова, и тоже был свой «дядя», участник Октября и войны с Колчаком или с басмачами, назвавший своего сына в честь Владимира Ильича Ленина «Виленом», и была мечта устроить «мировую революцию», помочь мировому пролетариату, было и свое 20 апреля 1938 года, о котором Миронов говорит: «В этот день я с трепещущим сердцем вступил в комсомол, секретарь райкома вручил мне билет № 0077350. Спросите, какой у меня сейчас номер паспорта, — не помню. А вот номер своего комсомольского билета запомнил я на всю жизнь».

И любимый учитель (или учительница) тоже были *у* нас, и любимый, благодаря этому учителю, предмет. Для Миронова таким предметом стал немецкий язык. В их школе «немка» была из Германии, революционная эмигрантка, и Миронов от нее заразился романтикой антифашизма: Тельман, МОПР, песни Эрнста Буша.

Еще в девятом классе он стал посещать курсы иностранных языков, прочел массу антифашистских брошюр, которые выходили в Москве, книжки по немецкой истории и философии. И как бывает, что у человека вдруг прорезается голос, так у Миронова вдруг «прорезался» немецкий язык: он заговорил почти свободно.

Взрослых удивляли его знания. Он ориентировался в государственной структуре и в экономической [231] географии Германии, мог без ошибки назвать, где какой немецкий город расположен, сколько в нем населения, чем оно занимается. Знал биографии гитлеровских вожаков.

Он уже тогда был почти специалистом… Вообще в тридцатые годы к Германии проявлялся у нас значительный и плодотворный интерес (между прочим, гораздо больший, чем в сороковом году или в начале сорок первого, перед самой войной).

Германский рабочий класс, который вел трагическую, самоотверженную битву с фашизмом, вызывал у нас самое страстное восхищение. С другой стороны, чувствовалось, что оттуда, из Германии, прет на мир зловещая сила и нам еще с этой силой предстоит встретиться; возникала внутренняя потребность изучить эту силу, познать ее сущность, так что, помимо всего прочего, мальчишеское увлечение Миронова имело серьезные, может быть им самим до конца не осознанные, исторические причины.

Всем этим я вовсе не хочу сказать, что Миронов был каким-то уникумом, вундеркиндом от разведки, — просто он, будучи натурой чувствительной и одаренной, ощущал «дух времени».

…Перед тем как уйти в немецкий тыл, в неизвестность, Миронов заполнил анкету. Послужной его список занял две строки: «С 1. IX. 1931 по 22. VI. 1941 — учащийся средней школы, с 22. VI, 1941 -в рядах РККА». В анкете «предысторию» отразить невозможно: кому интересно, что в школе, готовясь к будущей войне, он занимался в авиационном кружке, увлекся военной

химией, а весной 1941 года, окончив десятый класс, задумал поступить в авиационный институт [232] потому что считал эту специальность наиболее «злободневной»?

Обратили внимание на графу: «Владею немецким языком (говорю, читаю, пишу) без словаря, свободно».

Эта графа «подкупила» и райвоенкома, когда Миронов 22 июня пришел проситься на фронт. Его направили на курсы военных переводчиков, в одно из живописных мест под Москвой, а затем на Урал, где он проучился до декабря. На курсах он был самым младшим по возрасту, но по «спецподготовке» вскоре обогнал «стариков» — недавних вузовских и школьных преподавателей, и командование решило оставить его при курсах на преподавательской должности. Но в это время Миронов получил из дома письмо: родители извещали о том, что на Украине в боях с немецкими фашистами погиб его старший брат. Собственно, вся их семья воевала. Дядя записался в ополчение (он погиб под Москвой), старшая сестра Миронова была на фронте радисткой (сейчас она живет в Горьком, инвалид Отечественной войны).

* * *

Виктор Николаевич рассказывает:

— Получив тогда из дома письмо, я был потрясен, подал рапорт, что хочу отомстить фашистам за кровь брата, что моя сестра тоже дерется с врагом и я не могу здесь оставаться, прошу направить меня в действующую часть.

Через день у меня была на руках командировочная, и я выехал под Старый Оскол, где принял первое боевое крещение в должности переводчика полка. Лучшим моим учителем был старший лейтенант [233] Евдокимов, полковой разведчик. Ему я многим обязан и никогда его не забуду: он обучил меня военному ремеслу, без которого бы я в тылу у немцев пропал. Вместе с Евдокимовым мы ходили в поиск, брали «языков». Впервые я встретился лицом к лицу с немцами, о которых столько читал, столько думал. Меня страшно интересовало, что же это за люди, почему они, будучи по существу порабощенными, так ожесточенно воюют за своих поработителей. Я допрашивал «языков» со всеми подробностями, не только формальные сведения выяснял, а всю их подноготную, всю психологию хотел вскрыть, анализировал немецкие письма.

На допросах пленные дрожали: «Я не виноват», «У меня двое детей», «Я — маленький человек»; совали мне фотокарточки: «Вот моя семья!» Редко кто проявлял гордость. Большинство дрожали, но дрожать нечего было: я не хотел им зла, к немцам мы относились гуманно, я фрица называл «камерад», потому что видел в нем человека, такого же, как я, только обманутого, сбитого с толку Гитлером. И когда я на переднем крае обращался к немцам через громкоговорящую установку, то, по молодости лет, верил, что моя агитация наставит их на истинный путь. В августе сорок второго года, в жаркие дни боев, мной заинтересовались в Политуправлении фронта — предложили перейти инструктором в 7-й отдел. Но я отказался: мне больше нравилось на передовой, к тому же я хотел в своем полку вступить в партию… Так я

дослужил до ноября месяца. 18 ноября вечером комиссар полка отправил меня с разведчиками на передовую. Задача была не давать немцам покоя, до рассвета проводить с ними политбеседы по [234] рупору. Всю ночь я работал, а в семь часов утра заиграли наши «катюши». В тот день мне пришлось встретить фрицев, которых я ночью агитировал. Они спрашивали: «Пан, где дорога на Сибирь?» Но сагитировал их не я, а советская артиллерия.

Наше наступление началось. 22 ноября мы ворвались на станцию Чир, замкнув кольцо окружения.

Это был первый освобожденный нами населенный пункт, который я увидел. Всюду валялись трупы немецких и румынских солдат. Но у одного из домов лежали трупы людей в гражданской одежде, изуродованные, со связанными руками и сквозными пулевыми ранами в голове,- подростки, молодые девчонки, женщины. Меня как обожгло.

Я забежал в дом и на полу нашел несколько документов со штампом «ГФП» — «гехайме фельдполицей», то есть «тайная полевая полиция». Найденные документы я сдал нашему особисту и, конечно, не подозревал тогда, что в ближайшем будущем сам окажусь в этой «гехайме фельдполицей».

В Чире мы задержались ненадолго, шли дальше к Дону, к Донбассу, освобождали города, и повсюду передо мной расстилался кровавый гестаповский след: на станции Суровикино, в станице Морозовской, в Тормосино трупами были забиты рвы, шахты, траншеи, колодцы, и это были не солдатские трупы, — «население» могил составляли люди всех возрастов, национальностей и профессий, словно произошла какая-то жуткая эвакуация, массовое переселение людей из жизни в смерть. Кто их убил? С какой целью? Складывалось впечатление, что все эти трупы и трупики с зияющими провалами ртов и проломанными черепами — не просто жертвы войны, вражеского [235] нашествия, бесчинств и разгула. Существовала «трезвая», тщательно продуманная система убийств, со своими особыми органами, учреждениями, должностными лицами, и теперь, допрашивая пленных, я больше всего интересовался этой стороной дела, поскольку именно эта, наиболее засекреченная, «сторона» являлась, если так можно выразиться, самой основой фашизма, главной его опасностью.

Не каждый мог ответить на мои вопросы. Пленные твердили, что ничего не знают, изредка называли СД, СС, абвер, но открещивались от них всеми силами. Зато я многое почерпнул, беседуя с нашими людьми в освобожденных районах. Я собирал сведения о каждом факте зверств, пытался установить имена конкретных виновников, надеясь, что вдруг кто-нибудь из них еще встретится мне на дорогах войны…

До сих пор не знаю, что послужило причиной моего вызова в штаб армии. Командир полка майор Серых протянул мне телефонограмму. Может быть, мой опыт работы в полку, а может быть, повышенный и «целенаправленный» мой интерес к немцам обратили на себя внимание.

…Разговор с генералом начался с расспросов: как мы добываем «языков», прощупываем фашистскую оборону, к каким выводам я пришел, допрашивая пленных? Затем он спросил о моей семье, где учился, почему так хорошо знаю немецкий язык.

Генералу было лет сорок семь — сорок восемь. Он меня сразу к себе расположил, и я откровенно с ним поделился своими чувствами.

И тогда мне был задан вопрос: справлюсь ли я, если меня переправят с документами гестаповца [236] через линию фронта и смогу ли я в гестапо «работать» так, чтобы меня не разоблачили?

Подумав, я ответил, что, как воин и комсомолец, готов выполнить любое задание Родины, но прошу дать мне возможность проверить себя, а именно — поместить под видом немца в один из лагерей военнопленных.

Мою просьбу удовлетворили, и около месяца я проходил «практику».

Перед этим я получил ценный совет — составить *легенду* как можно ближе к своей собственной жизни, к тому, что было со мной в действительности. То есть, например, если я в школе увлекался коллекционированием марок, то я и у немцев могу рассказывать о своей коллекции. Если у меня была любимая девушка, то я должен и здесь, среди немцев, вспоминать свою девушку со всей искренностью, только имя ей надо придумать немецкое. Мой брат, погибший на Украине от фашистской пули, должен превратиться в «моего брата», погибшего на Украине от советской пули, а мою жгучую ненависть к фашистам я должен именовать ненавистью к большевикам.

Генерал сказал мне:

— Первое время забудь, не вспоминай о том, что ты — наш, убеди себя, что ты — немец, немцем родился и немцем умрешь, но при этом всегда оставайся советским человеком. Словом, ты, как артист, должен войти в свою роль, то есть должен *поверить* , что ты и есть тот, кого ты играешь, но играешь его *именно* ты, Миронов Виктор Николаевич, советский офицер, комсомолец, а не кто-нибудь другой… [237]

И я в эту роль вошел. Из допросов я знал номера и расположения немецких воинских частей, фамилии командиров, знал кое-какие бытовые подробности, и мне было не так уж трудно сойти за «своего». Мой немецкий язык не вызывал у них подозрений: выручало обилие диалектов, при котором каждый считает, что его собеседник говорит с акцентом. У меня был «силезский» акцент, я был «силезец». Пленные разговаривали со мной, как с таким же фрицем. Одни хныкали: «Нас ждет Сибирь, семидесятиградусные морозы, вряд ли мы вернемся домой»; другие пытались смотреть на вещи пошире, у них уже начали появляться догадки насчет того, что Гитлер их обманул и вовлек в авантюру. Третьи, в основном кадровые офицеры, вели себя нагло, обижались, что их допрашивают: «Большевики не имеют права копаться в нашем грязном белье! Мы — офицеры! Есть женевские соглашения! Русские обязаны нам обеспечить комфорт!» Были среди них и своеобразные критиканы, которые бранили высшее командование за близорукость: «Доверили фланги румынам и итальянцам, и результат налицо. Эти животные нас предали!»

Иногда в наш лагерь приезжали агитаторы — немецкие антифашисты, которые жили в Советском Союзе. Молодые солдаты смотрели на них с недоумением: кто такие?.. Со «стариками» было легче: многие еще помнили времена «Рот фронта», годы классовых битв и, слушая выступления ораторов, словно встречались со своим прошлым. Но они еще не знали, что встречаются

сейчас со своим будущим,. Вообще нужно было обладать большой верой в победу, чтобы вести тогда такую работу среди немцев. Ведь подумайте — огромные наши территории [238] оккупированы, немцы на Украине, немцы в Белоруссии, немцы под Ленинградом, немцы на Северном Кавказе. Тут, как говорится, не до жиру, быть бы живу,- а мы этих немцев агитируем, перевоспитываем, обращаемся по рупорам и в лагере военнопленных ищем к ним «индивидуальный подход». И ведь это делалось не только с целью, чтобы склонить их к перебежке на нашу сторону или завербовать верных нам людей. Уже тогда смотрели на много лет вперед, видели в массе пленных фрицев граждан будущей новой Германии, с которой нам предстоит не воевать, а жить в мире. Шла закладка фундамента, хотя, конечно, перевоспитанию поддавались далеко не все.

Я стал искать подходящую кандидатуру, то есть человека, роль которого я буду «играть». Мне уж» было ясно, что на ту сторону надо пробираться толь ко под видом офицера, а не полицая, старосты или вспомогательного служащего, так как шоферы, полицаи и старосты, собственно, мало что знают и рисковать ради незначительных сведений бессмысленно.

Мне приглянулся зондерфюрер Георг Бауэр, который служил в том самом полевом гестапо на станции Чир, где были обнаружены трупы замученных советских граждан. Как военный преступник, Бауэр подлежал судебной ответственности, и его из лагеря перевели в тюрьму. Я попросил поместить меня с ним в одну камеру и две недели общался с ним круглые сутки.

Это был убежденный фашист и, несмотря на свою молодость, человек абсолютно испорченный, конченый. Он без конца хвастался передо мной, сколько он уничтожил русских, как он над ними издевался, и [239] особенно отвратительны были его рассказы о женщинах, которых он пытал. Слушая его гнусные исповеди, я вырабатывал *в* себе выдержку, умение сдерживать гнев, направлять свою ненависть по нужному руслу. Естественным было желание смазать этому негодяю по морде, но такая выходка ничего бы не дала; сложнее было соблюдать спокойствие и делать вид, что ничему не удивляешься, что все в порядке вещей.

Бауэр был моим сверстником, однолетком, и я, конечно, испытывал к нему особое любопытство. Мне предоставилась редкая возможность сравнить две системы духовного воспитания людей, два, что ли, мира. Поражали удивительная жестокость и эгоизм, в которых был этот молодой немец воспитан. Других народов, кроме немецкого, для него не существовало. Он мог не задумываясь застрелить русского мальчика, проломить череп украинской женщине, живьем сжечь еврея, потому что для него они были не люди, а какие-то низшие существа. Он в разговорах никогда не называл их по именам, по профессиям, по каким-либо внешним признакам, а только по национальности: «тот русский», «та еврейка», «тот поляк». Но и своих же немцев он любил какой-то дурацкой, извращенной любовью, похожей скорее на ненависть. По его словам получалось, что немцев надо как следует помучить, «потренировать», чтобы они до конца осознали, как они осчастливлены фюрером и в какое великое время живут.

Из рассказов Бауэра о Нюрнбергском слете, в котором он участвовал в качестве знаменосца, о его преклонении перед Гитлером можно было понять, что он ослепленный фанатик и для себя никаких личных выгод не ищет. Но оказалось, что этот нацистский идеалист в девятнадцать лет весь пропитан корыстью, все его мечты были только о том, как разбогатеть, нажиться, и он мне с упоением рассказывал, как «обарахлялся» в Польше, а если прослужит еще двенадцать лет, то станет помещиком в польской провинции.

Бауэр ко мне очень привязался. Никаких подозрений я в нем не вызывал, и не оттого, что он был слишком доверчив, а я обладал каким-то сверхталантом перевоплощения. Просто ему и в голову не могло прийти, что русский человек способен проникнуть в психологию немца, да и, согласно расовой теории, немца вообще нельзя спутать ни *с* кем: от него исходит особый арийский дух, особое сияние.

Эта фашистская ограниченность впоследствии не раз меня выручала. При всей своей подозрительности и системе сыска гестаповцы часто проявляли недооценку наших возможностей проникать в их замыслы и путать им карты…

Для Бауэра я был командир разведывательного немецкого взвода, попавший в плен под Калачом. Он мне серьезно советовал в случае возвращения к «нашим» перейти на работу в гестапо, так как там можно сделать наиболее блестящую карьеру. От него я узнал детали службы, систему субординации, процедуру перевода из одной части в другую и прочее…

Командование согласилось, что роль Бауэра будет для меня, пожалуй, самой подходящей. Во-первых, я мог воспользоваться его отпускным удостоверением и объяснить, что весь январь провел в Германии, в отпуске: проставить штампы соответствующих пропускных пунктов было нетрудно. Во-вторых, выгодным представлялось, что он сирота, писем ни от кого [241] не получает и, следовательно, отсутствие у меня личной переписки недоумения не вызовет. В-третьих, полевое гестапо, где Бауэр проходил службу, целиком ликвидировано, и таким образом отпадает неприятная возможность встретиться с кем-нибудь из бывших «сослуживцев». И, наконец, особенно важно было, что Бауэр по своей военной специальности числился канцеляристом, начальником шрайбштубе, — это открывало мне доступ к документам и в то же время избавляло от необходимости участвовать в карательных операциях…

И вот, распрощавшись с Бауэром, я вновь предстал перед генералом. Одобрив мой план, он спросил, какое у меня настроение, достаточно ли серьезно я сознаю, какой опасности себя подвергаю, и понимаю ли, среди кого мне придется жить и работать.

Но теперь я был более уверен в себе, чем в первую нашу встречу. Одного только я боялся — не выдержать сцен допросов и истязаний наших людей. Но и к этому надо было приготовиться…

Началась подготовка.

Стали меня обучать немецкой штабной службе, тонкостям делопроизводства, и, хотя обучение шло по ускоренной и сокращенной программе, я этот «курс» усвоил неплохо, старался вовсю: малейшая оплошность могла стоить мне жизни…

В последний вечер я написал письма домой — родителям — и сестре. Но слова с трудом шли в голову: я уже целиком погрузился в свою «легенду»…

Мой переход через линию фронта совпал с днем памяти Ленина — с двадцать первым января. Задание, с которым я направлялся, было на первых порах следующим: выявить лицо фашистских карателей, их [242] агентуру, провокаторов, установить, кого они готовят к заброске в советский тыл, фамилии официальных и неофициальных сотрудников, какими они разведывательными и контрразведывательными органами на этом участке фронта располагают.

Мне предстояло, перейдя линию фронта, пробраться в Шахты и под видом возвращающегося из отпуска Георга Бауэра прибыть в отдел «1-с» 6-й армии. В Шахтах со мной вступят в контакт наши люди, через которых я буду поддерживать связь с Большой землей…

21 января вечером, в сопровождении двух офицеров и двух солдат, я выехал на крытом «газике» к линии фронта.

Неподалеку от передовой машина остановилась. Солдаты-разведчики шли впереди, мы, втроем, — сзади. Подошли к окопам. Разведчики кратко объяснили, как расположены траншеи и доты немцев, полковник дал последние указания. Мы обнялись.

Я вышел из окопа и ползком направился в сторону фашистской обороны. Немцы обстреливали наш передний край из пулеметов и периодически освещали всю полосу ракетами, но мне помогал укрываться густой снег и кустарник. За моей спиной, чуть справа, отвечал фрицам наш пулемет.

Хотя у меня был уже немалый опыт и я хорошо знал этот участок передовой, я потерял много времени, пока прополз между окопами и углубился на три — четыре километра. В одной из траншей увидел фашистского офицера — он дремал над свечкой, и я с трудом удержался: хотел прихватить его по привычке как «языка».

Несколько километров я двигался то ползком, то [243] короткими перебежками, а до станицы Успенской шел быстрым шагом по целине, прячась лишь тогда, когда голоса немцев заставляли искать укрытия. Во второй половине ночи обошел станицу,- вся переправа через реку охранялась, и я натыкался на часовых. Северней Успенской начал переходить по льду реки, но посередине провалился, и течением стало тащить меня под лед. От треска льда и шума фрицы подняли ужасную стрельбу, но били невпопад. Пришлось тихонько выползать, намокший лед тонул под тяжестью моего тела. Пока я «штурмовал» лед и добирался до берега, прошел час, может, больше. На востоке занималась заря. Я выполз на берег. Ноги почти не двигались, я еле добрался до первой скирды в поле. Хотел раздеться, выжать одежду, ко одежда замерзла, и зуб на зуб не попадал. День просидел в стогу соломы, только к вечеру почувствовал, что могу идти дальше, но кругом слышалась немецкая речь и шум моторов.

В следующую ночь я пробежал по целине километров тридцать, под утро оказался в каком-то сарае на станции Амвросиевка, привел себя в порядок и, наконец, двинулся в Шахты, где встретил наших людей и получил немецкую форму. Оставалось проделать последнюю процедуру: съездить в Днепропетровск и в Ясиноватую, чтобы отметить на пропускных пунктах (по-

немецки они назывались Urlaubsüberwachungsstellen) мое отпускное удостоверение, так как именно через эти станции должен был возвращаться из Германии на фронт Георг Бауэр. «Штампы» комендатур Оппельна, Кракова, Львова и Харькова мне проставили у нас в штабе армии, но здесь, поблизости, «липовать» было, рискованно: в любую [244] минуту могли запросить Днепропетровск или Ясиноватую — являлся ли к ним такой зондерфюрер?

Эта процедура прошла без всяких осложнений. Меня зарегистрировали, хлопнули на удостоверение штампы, и я стал законченным Георгом Бауэром. В портфеле у меня лежало несколько бутылок немецкого вина, яичный пирог и прочая домашняя снедь — «подарки от тетушки», «привет из фатерланда».

Теперь можно было не спешить, использовать обратную дорогу в Шахты для акклиматизации: потолкаться на продовольственных пунктах, в комендатурах — ведь Георг Бауэр искал свою часть и, вполне естественно, наводил справки, где только мог.

И вот передо мной — оккупированная территория, наша земля, оказавшаяся под немцем. На вокзале в Ясиноватой в первую же минуту увидел такую, например, сценку. Стоит пожилой человек интеллигентного вида, может быть врач или учитель. Подходит немецкий ефрейтор: «Эй, пан, комм!» — взваливает старику на спину рюкзак — неси! — а сам идет сзади. Здесь же увидел большую колонну девчат и парней, сопровождаемую конвоирами. Их гнали к полуобгоревшему зданию, где висело красное с белыми буквами полотнище, похожее на лозунг: «Общежитие для отъезжающих в Германию»…

Три дня я входил в новый для меня быт. Первое, что бросалось в глаза, — подавленность населения и жестокий террор. В городах, в населенных пунктах — одна и та же картина: ведут, гонят то колонну отправляемых в Германию, то группу арестованных, то задержанных в облаве. Хотя всюду развешаны объявления: «Betteln verboten» (милостыню просить запрещено) — на улицах полно нищих, особенно детей. [245] Народу больше всего на кладбищах и на черных рынках: это в оккупированных городах самые бойкие места. Смертность огромная; без конца — похороны, отпевания, панихиды. Те, кто жив, пробуют продержаться, тащат на черный рынок свой скарб, промышляют кто чем может — искусственными леденцами, кустарными самоделками. Здесь же какая-нибудь баба, жена полицая или карателя, продает сапоги, которые ее муженек снял с убитого и припрятал от немцев. Да и сами немцы и румыны торгуют: посылают на базар своих прислужников с армейским пайковым хлебом, с пайковым мармеладом, с одеялами, украденными из казармы, — выручку забирают себе. Среди толпы бродят мрачные фигуры в поношенных мундирах немецких шуцманов двадцатых годов, вооруженные русскими трехлинейными винтовками, — полицаи.

Из привычной советской жизни я попал в какой-то фантастический мир. Почему-то немцы разговаривали с местными жителями на ломаном польском языке, который превратился в условное наречие, в «служебный» язык оккупации. Прочел газету, выпускаемую оккупантами для русского населения. Странная здесь была мешанина. Кое-что напоминало дореволюционный быт, попытку возродить ушедшее навсегда прошлое: «господин», «госпожа»,

«бургомистр», «рождество», «пасха». Запомнилось объявление: «Гурьянов Н. П. производит и продает крестики нательные разных сортов, от 50 копеек и дороже, имеет венчики и молитвы». В то же время сохранялась и советская терминология: «жилотдел», «домоуправление», «заготзерно», а передовица была озаглавлена так: «Выше темпы пахоты!» — видимо, автор сотрудничал [246] прежде в советской печати, переметнулся к немцам, и у него не хватило фантазии для того, чтобы изменить привычную «лексику». Но главное содержание составляли всяческие славословия в честь Гитлера, фашистской армии, немецкого образа жизни и немцев, как «руководящей нации».

В бургомистратах, в полицейских участках, на загаженных вокзалах висел стандартный портрет с надписью: «Гитлер-освободитель». Это звучало горькой иронией…

Я познакомился с немцами, преимущественно с офицерами, которые, «подобно мне», возвращались из отпуска или из госпиталей и теперь искали свои разгромленные части. Вместе мы ехали в поездах, на попутных машинах, ночевали в офицерских гостиницах. Ко мне относились с симпатией, говорили обо всем откровенно, даже кое-какие секреты выбалтывали, — но это, скорей всего, действовал тетушкин шнапс.

Немцы, с которыми я разговаривал, были, конечно, не трясущиеся фрицы, известные мне по допросам. Многие еще сохраняли «боевой дух», арийскую спесь и убежденность в победе «великой Германии». Любопытно было, что они и в частных беседах употребляют трескучие фразы, заимствованные из речей Геббельса и официальной пропаганды.

Все это я фиксировал, старался запомнить и перенять каждый их жест, характерные выражения, любую мелкую подробность, которой я мог бы расцветить свою «легенду».

Я проверял себя. Рассказывал своим попутчикам всевозможные небылицы о том, как в гестапо допрашивал русских, о сибиряках, о пленных комиссарах, — [247] меня слушали, по-рыбьи разинув рты… С бдительностью у них обстояло неважно, слабее, чем у нас.

При этом надо сказать, что запуганы они были ужасно. Им в каждом прохожем мерещился партизан, они боялись пить воду из колодцев, в частных домах на ночлег останавливались только через комендатуру…

В штабе 6-й армии, у генерала Холидта, меня приняли хотя и вежливо, но очень придирчиво. Спрашивали, где мое личное дело, трижды заставляли писать автобиографию — Lebenslauf, — тут я с искренней благодарностью вспомнил свою школьную учительницу, да и она бы поставила мне за это сочинение пятерку. Наконец, после тысяч всяких формальностей, меня направили за назначением к начальнику контрразведки, комиссару Майснеру.

Не скрою, что я с волнением подходил к двухэтажному зданию, где помещалось гестапо.

Предъявил дежурному свой документ, доложил. Он, видимо, был уже предупрежден по телефону и радушно сказал мне:

— Grüß Gott! Добро пожаловать!.. Прошу вас подняться на второй этаж, в кабинет номер пять, — там вас ждут…

До первого решительного испытания оставались считанные минуты. Поднимаясь по лестнице, я вновь и вновь вспоминал все добрые советы, инструкции: сейчас я вскину руку в фашистском приветствии, доложу и, когда меня спросят, начну рассказывать о том, как провел на родине отпуск, что ищу свою часть…

Дверь в кабинет была распахнута настежь, я остановился на пороге и увидел… [248]

Вот что я увидел: на ящике со льдом и опилками лежал на животе человек. Кожа на спине у него была содрана, он стонал. Из боковой двери в комнату вошел гестаповец и, не обращая на меня никакого внимания, полоснул этого человека по спине резиновым шлангом. Человек громко закричал…

Не знаю, как повел бы себя на моем месте Георг Бауэр, но мне в эту минуту стало страшновато. Забыв обо всех инструкциях, я чуть было не пустился бежать и мог провалить все дело. И тогда — понимаете — я себе *приказал* быть Бауэром, я Миронова просто от себя прогнал, оттолкнул, и мне сразу стало легче, словно я избавился от кого-то, кто мне мешал. С тех пор я с самим собой — то есть с Мироновым — «встречался» только по утрам, перед тем как прикинуть задание на день, и поздно вечером, когда, ложась спать, мысленно подводил итоги дня.

Итак, я был Бауэром, Георгом Бауэром и больше никем, и, войдя в комнату, прищелкнул каблуками и даже несколько разочарованно произнес свое «хайль!», потому что гестаповец, который пытал человека, был в том же звании, что и я, следовательно, проявлять особое рвение было как бы ни к чему, а к такого рода сценам, как эта пытка, Бауэр, слава богу, привык…

В ту же минуту я услышал голоса:

— А! К нам прибыл новый сотрудник! Очень приятно!..

Я обернулся. За моей спиной стояли комиссары Майснер и Брандт со свитой.

Я представился им, и в том же кабинете, рассевшись на диванах и в креслах, мы стали беседовать. Гестаповец между тем продолжал свое дело. [249]Арестованный, который было затих, вновь закричал, и Майснер, кивнув в его сторону, объяснил:

— Большевистский лазутчик. Задержан в форме немецкого офицера…

Но какое впечатление могли произвести эти слова на Георга Бауэра?

Я махнул рукой:

— А, русские! Насмотрелся на них за два года. Только что под Шарковом (Харьков) видел: их там понабили тысячами…

И тут же ввернул изреченьице из «Майн кампф»…

Поспрашивали меня немного — с кем служил, где воевал, что нового увидел в Германии. Потом принесли советский пистолет «ТТ».

— Может, возьмете как личное оружие? Неплохая штука.

— Нет, — говорю, — не знаю, как с ним обращаться. У меня «вальтер», он лучше действует.

Наконец Майснер предложил отдохнуть с дороги, помыться. Меня отвели в комнату, бросили на железную койку полушубок.

— Спокойной ночи!..

Но спать долго не давали: то один гестаповец входил, то другой, «беседовали», пытались подловить. Часов в двенадцать ночи, когда я уже уснул, прибежал помощник дежурного, стал меня тормошить:

— Надо зарегистрировать — как твоя фамилия? Откуда ты прибыл? — Думали, может, я спросонок проговорюсь…

Утром — аппе́ль, построение. Придирчиво смотрят, как я выполняю команды: не по советским ли уставам? [250]

Пригласили в канцелярию: еще раз надо писать Lebenslauf. И опять тот же вопрос: где личное дело?.. Да откуда ему взяться, если я уехал в отпуск, а мою часть ликвидировали?!

В конце концов решили запросить дубликат из Берлина, а меня послать, под присмотром комиссара Брандта, в Таганрог.

В Таганроге в первые дни поручения тоже носили проверочный характер. Дают подшивать старые, отработанные дела, а сами следят: не воспользуюсь ли документами, не выкраду ли «оперативные планы»?

«Забывают» на столе липовый ордер на арест какого-нибудь человека, ждут: не побегу ли предупреждать?

Приказали доставить из городской тюрьмы арестованного. Пришел, расписался в книге, забрал какого-то мужчину. По законам беллетристики я должен был бы его тут же отпустить: беги, мол, дорогой товарищ, смерть немецким оккупантам! Но так только в глупых книгах действуют разведчики. В жизни такие эффекты могут привести только к гибели, к провалу всего дела. И я, конечно, этого арестованного не отпустил, а по всем правилам доставил его в здание гестапо, хотя сами понимаете, какое у меня было при этом настроение: вот веду я по улице человека, своего, советского, русского, может быть, на расстрел веду, и ничего не могу для него сделать. Даже спросить нельзя: кто он, за что попал?..

Кстати, потом я узнал, что этот «арестованный» был провокатор, его специально выделили, чтобы проверить мою добросовестность.

Мне об этом, смеясь, рассказывал сам Брандт, когда уже окончательно в меня поверил: [251]

— А знаешь, Бауэр, мы поначалу думали, что ты русский шпион!..

Я понял, что нужна величайшая осторожность. Моя цель была побольше дать Родине и поменьше потерять. Конечно, красиво было, когда мы в 41-м году во весь рост шли на немецкие пулеметы, но мне лично нравились больше «котлы». Главное — победа, хорошо подготовленная, с наименьшим количеством потерь, — хотя, к сожалению, и без потерь не обойтись.

Помогать нашим людям надо было с умом, сообразуясь с реальными возможностями и обстановкой. Допустим, я узнаю, что на такой-то улице, в доме, скажем, 15, скрывается советский патриот, за которым установлено наблюдение и который подлежит в скором времени аресту. Так вот, вечером улизнешь из казино или из театра, прихватишь по дороге первых встречных солдат, одного или двух, и направляешься на эту улицу, но не в дом 15, а по соседству и начинаешь там «шуровать». Производишь обыск, кричишь, поднимаешь шум: «У вас тут прячется партизан! Нам все известно!» — и, конечно, никого не находишь. А наутро уже вся улица знает о твоем посещении, и тот человек, из дома 15, успевает перебраться в другое место.

Или присутствуешь на допросах, видишь, что допрашиваемый не выдерживает пыток, начинает выдавать своих, — бывало и это. Тут уже другого рода нужна помощь, нужно спасти человека от предательства и позаботиться, чтобы он не провалил других. Помню, был схвачен парашютист Заболотный. Над ним «колдовали» несколько дней, наконец он дрогнул. Следователь Циприс, радостный, вышел из кабинета, [252] подмигнул мне: «Сдвинулось дело, можешь зайти, убедиться…»

Я заглянул в комнату — Заболотный сидел избитый, истерзанный (только что закончился допрос), перед ним поставили тарелку с едой. Он с жадностью стал есть: переходил на немецкое довольствие. Я похлопал его по плечу, достал сигареты.

— Молодец, рус, правильно сделал, что все решил рассказать.

Поев, Заболотный затянулся дымком, он, видимо, поверил уже, что жизнь себе купил.

— Да, — говорю, — есть у вас, у русских, хорошая песня: «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага…» — Махнул рукой. — Признавайся не признавайся, все равно ты живым не уйдешь! До смерти четыре шага! — И рассмеялся ледяным гестаповским смехом…

Заболотный понял, что предательство ему не поможет. Во всяком случае, стимул к дальнейшим откровенностям у него пропал.

И обезвреживание провокаторов происходило часто совсем не так, как это изображают иные писатели: мол, завел его на пустырь или в лес и прикончил. Нет, приходилось вести сложную игру, подбирать для него такое задание, чтобы он обязательно провалился или в глазах немцев выглядел как дезинформатор, вводящий их в заблуждение, — тогда они сами его уберут.

Словом, это была томительная будничная работа, далекая от приключенческой романтики. Здесь имеешь дело с такими негодяями, подлецами и мелкими душами, что иногда исход большой операции могла решить бутыль подсолнечного масла, которую [253] ты в виде одолжения раздобудешь для шефа, или какая-нибудь заваляющая бабенка, с которой ты сведешь «друга-эсэсовца».

Признаться, я раньше никогда не думал, что люди могут опускаться так низко, и даже гестаповцев представлял себе совсем по-другому. Я знал об их жестокости и коварстве, но представить себе не мог масштабов их злодеяний и того, что такие ужасные зверства совершают люди внешне обходительные, которые, казалось бы, и муху не обидят. Они умели разговаривать вежливо, добродушно, с улыбочкой вытягивать из человека нужные сведения, а потом с такой же добродушной улыбкой стрелять ему в затылок. Они могли ночь провести с женщиной, а наутро, поцеловав ей руку и выпроводив на улицу, выстрелить этой женщине в спину.

Убийства и расстрелы были для них не только службой, но и отдыхом, любимой забавой. Все их разговоры, все их шутки так или иначе вертелись вокруг темы убийства. Они подходили, приставляли вам палец к затылку и хохотали: «А, Georg! Genick-schuß!»{12} По вечерам, в казино или на камерадшафтсабендах, они без конца рассказывали друг другу, как кого расстреляли, куда угодила пуля, как человек перед смертью хрипел и так далее. Был ажиотаж — у кого на счету больше расстрелянных. Эти цифры

искусственно взвинчивались, каждый стремился увеличить свой личный счет любым способом. Помню, однажды прибыл эшелон с отправляемыми в Германию украинцами. Следователь Циприс явился на [254] станцию, отобрал из эшелона триста человек — просто ткнул пальцем: «Этот, этот, эта…» — и велел их расстрелять как заболевших тифом.

Перед расстрелом людей раздевали догола, вещи укладывали в бумажные мешки. Часть вещей — все, что получше, — отмывали от крови и забирали себе, остальное отправляли в «рейх», в интендантства.

Я много наслышан был о немецком педантизме, честности, о том, что немец никогда не ворует. Но это сильно преувеличено. Во время обысков они обязательно норовили что-нибудь стянуть, называли это «цап-царап» и смеялись. Надо сказать, что паек они получали чрезвычайно скромный, — прямо предписывалось «улучшать питание», используя местные условия. Рацион был такой: утром — полкотелка ячменного кофе (Bohnenkafee,- кофе в зернах выдавался только по праздникам); в обед — на первое гороховый суп с консервами, на второе — пудинг, облитый фруктовым соусом, или суррогатный кисель; вечером — 20 грамм маргарина, 80 грамм плавленого сыра, или 50 грамм португальских сардин, или же 100 грамм колбасы. На день выдавалось полбуханки хлеба и 6 штук сигарет. Раз в месяц полагался дополнительный паек, «маркитантские товары» — полбутылки вермута, бутылка шнапса, пять пачек сигарет и две плитки соевого шоколада. Жалованье выплачивалось — офицерам 54 марки в месяц, солдатам 37 марок. И тем не менее питались они неплохо, всего в основном хватало, потому что главным «источником существования» был грабеж. Но грабили организованно, конфискованные продукты, гусей, кур, молоко [255] сдавали на склад и распределяли между собой, согласно калькуляции.

Это были самые настоящие бандиты, но официально узаконенные, с орденами, с медалями и военными званиями. К тому же они считали себя представителями самой культурной нации в мире, но культура у них была такая же фальшивая, как их улыбки. Даже внешняя, наружная культура была лживой. Оних например, очень редко мылись в бане — один — два раза в месяц, не чаще. По утрам умывались в том же тазике, в котором брились: мыльной, грязной водой слегка споласкивали физиономию; зато своим ежедневным бритьем хвастались как величайшим признаком цивилизованности: «Мы не то, что русские свиньи! Мы каждый день бреемся!» Ходили в выутюженных мундирах, опрысканные одеколоном, сапоги начищены до блеска, замшевая перчатка кокетливо расстегнута, а кой у кого под мундиром — грязное нижнее белье.

Культурный и политический кругозор у них был ничтожный, до предела суженный нацистским практицизмом, Все их философские познания ограничивались несколькими цитатами из Гитлера, Мольтке, графа Цеппелина, чьи афоризмы висели в рамочках, под стеклом, на стенах казино и в служебных кабинетах. О Канте, Гегеле, Шопенгауэре понятие имели самое смутное; из истории слышали кое-что о древних греках, римлянах, древних германцах и Фридрихе. Я их своими весьма скромными сведениями из немецкой истории, философии и литературы просто поражал. Они говорили: «О, Георг! Ты настоящий профессор!»

Книги они читали в основном низкопробные — так [256] называемые «романы за 20 пфеннигов», о любовных похождениях какого-нибудь офицера или о «подвалах ГПУ». В офицерских общежитиях стены были обклеены портретами киноактрис, вырезанными из журналов, и фотографиями полуобнаженных красоток.

Омерзительна была их мещанская сентиментальность, их усвоенные с детства традиции! Если отмечался день рождения начальника гестапо или его заместителя, то на рассвете у двери его спальни собирались подчиненные, будили новорожденного какой-нибудь немецкой песенкой. Толпятся у двери и своими бычьими голосами заводят: «Проснись, дитя, уж утро наступило!» А он лежит себе в постели, довольный, слушает…

Я не встречал людей более жадных. Каждая сигарета была у них на учете, над каждым пфеннигом они тряслись. Эти «фронтовые офицеры», «оперативные работники» были, по существу, мелкими лавочниками. Заплесневелую краюху хлеба, истлевшие, сношенные домашние туфли они не выбросят, а спрячут в рюкзак, потом, при случае, торжественно преподнесут сожительнице, или прачке, или уборщице: вот, мол, возьми, германский офицер тебе дарит, ты довольна, а?.. Хотя они много разглагольствовали о будущей организации мира и мировом господстве, цель у них была одна: после войны устроить для себя благополучную жизнь, иметь хороший дом, оборотные средства, фабричку, клочок земли.

И вот что удивительно: многие этой цели достигли. Собственно говоря, мечты их сбылись. Большинство из моих «сослуживцев», кроме тех, кто погиб на фронте или попал под суд в первые послевоенные годы, устроились в полном соответствии со своими планами. [257]

В Дармштадте, в Мюнхене, в Ганновере — по всей Западной Германии раскинуты их магазинчики, фабрички, ресторанчики: свою войну они выиграли! Причем нынешнее свое благополучие они вовсе не считают чем-то случайным, результатом какого-то недосмотра со стороны победителей или необыкновенной милостью господа бога. Ведь на то они и немцы, чтобы жить хорошо! Это другие пусть живут плохо. Мы — немцы, мы дали Гуттенберга, Бертольда Шварца и Иоганна Вольфганга Гёте! И хотя ни Гуттенберг, ни Бертольд Шварц, ни Гёте не имели никакого отношения ни к комиссару Брандту, ни к следователю Ципрису, ни к оберштурмфюреру Дитману, ни к унтерштурмфюреру Рунцхеймеру, эти последние считали себя вправе взимать оброк со всего человечества за «подаренную немцами» цивилизацию.

Сколько я за свою службу таких разговоров наслушался! Я уже не говорю о евреях или поляках, которые для этих «сверхчеловеков» были просто-напросто вредными бактериями, или о русских, которые рассматривались как нецивилизованные дикари (из персонажей русской истории почиталась только Екатерина II: «Sie war doch eine Deutsche!» — она была немкой!). Они о своих союзниках отзывались с нескрываемым презрением. «О, румыны! — всерьез объяснял мне Брандт. — Они ведь происходят от тех римлян, которых высылали в дальние провинции за воровство, так что воровство им передалось по наследству! Итальянцы — бездельники, нищие. Дуче у них единственный порядочный человек» да и то с большими недостатками: миндальничает с евреями…» [258]

Вот в каком омуте я оказался. Но из этого омута по длинной цепочке связных передавались на Большую землю важнейшие сведения, самые их сверхсекреты утекали отсюда по невидимому каналу. И сознание того, что я, рядовой советский разведчик, обычный офицер Красной Армии, способен нанести удар в самое сердце коварному и опытному врагу, наполняло меня гордостью и желанием работать. Вот они, эти «сверхчеловеки», избранники судьбы, завоеватели, хозяева мира, которые убеждены в том, что все им доступно, все подвластно, что нет такой силы, которая может им противостоять, — и они не знают, догадаться не могут, кто я такой.

Солидные генералы, полковники, генштабисты, воспитанники прославленных германских академий сидят и планируют операции, и все у них правильно, тютелька в тютельку, и нет никаких ошибок, быть не может ошибок, потому что у них не мозги, а арифмометры, вычислительные машины, и лучшая в мире немецкая инженерия построила для них «военную мощь», и немецкие мастера с золотыми руками отшлифовали — без брака, без сучка и задоринки — детали и винтики, и рачительные интенданты рассчитали, какой рацион потребен солдатам на фронте, а какой — рабочим в тылу, и сколько нужно отпустить калорий концлагерному заключенному, чтобы он не объел «великую Германию» и все же мог при этом работать, — и не может не быть успеха потому, что за всем этим стоят порядок, продуманность — от стратегического замысла до прочности солдатских подошв, которую испытывают узники в лагерях, пробегая двадцать восемь кругов по гравию в ботинках на экспериментальной подошве. [259]

И все это высчитано и обеспечено всей их системой…

И вот в это время я, Миронов Виктор, парень с московского двора, с их фашистской точки зрения не человек вовсе, а так, полуживоткое, способное только жрать и работать, силой своего ума и воли составляю маленькую сводку — всего несколько слов — и прихожу к Марусе, или, как ее называют немцы, к «Марыське», которая работает у нас судомойкой при кухне, и она прячет мою записку в платочек, и — пошло дальше, дальше… И летит все это великое германское построение вверх тормашками!..

В основном я бил по документам. Это был для меня главный и непосредственный источник информации. Гестаповцы — бумажные души и все свои действия непременно отражают во множестве бумаг, с соблюдением всех бюрократических формальностей. Благодаря этому наше командование получало представление о методах работы германских органов, об их структуре и характере операций.

Вторым источником были задушевные беседы с сотрудниками гестапо и армейской контрразведки. Здесь надо было соблюдать такт и осторожность, не задавать вопросов, которые могли бы показаться подозрительными, а незаметно навязывать собеседнику тему разговора. Иногда в ходе таких бесед гестаповец мог выболтать важную тайну.

Представьте себе вечер, конец рабочего дня. Следователи разошлись, арестованные отведены в свои камеры, один только дежурный скучает у телефона: лето, духота, чужбина. Я спускаюсь вниз, в дежурку, мне тоже идти сегодня некуда. Сидим, разговариваем. [260] Хорошо, когда есть на чужбине друг, с которым можно отвести душу. Я приношу из своей комнаты баночку

сардин, полбутылки вина, разливаем по рюмкам: товарищество — дороже всего!.. Ах, вино пахнет родиной, Рейном, — что-то там сейчас поделывают наши девушки? Говорим о доме, вспоминаем Германию, детство, милые сердцу семейные праздники, Когда же, наконец, мы вернемся? Разговор заходит о превратностях нашей профессии, — конечно, мы на почетном посту, на главном участке, но все же мой приятель мечтает, чтобы его перевели в рейх. Есть счастливчики, которые устроились в концлагерях , — например, в Дахау или в Заксенхаузене, там хоть сто лет прослужить можно!.. Я придерживаюсь другого мнения. Мне нравится больше разведка: пробраться к большевикам в тыл — вот было бы здорово!.. Дежурный качает головой: риск слишком велик, На днях он был в «1-с», там готовят к заброске его земляка, полковника Модерзона. Бедняга очень беспокоится за свою жену: что будет с ней, если он не вернется?

Мы пьем за полковника Модерзона, за его жену и за его удачу, потом снова говорим о Германии…

К себе в комнату я возвращаюсь поздно ночью. Теперь мое внимание будет сконцентрировано на полковнике Модерзоне. А через несколько дней на «той стороне» ему подготовят «теплую встречу». И никто (в том числе и мой приятель дежурный) никогда не узнает, почему так быстро провалился полковник Модерзон…

Несколько раз удавалось срывать операции по борьбе с подпольщиками и партизанами. Об одном [261] таком «срыве», когда готовился разгром нашего десанта, я уже рассказывал. Были и другие подобные случаи, правда, более мелкие.

Так шла моя служба до конца июля. Со своей работой я справлялся, только мукой было для меня присутствие на допросах, к которым меня стали все чаще привлекать в качестве переводчика, так как я считался сотрудником, знающим русский язык.

И вот однажды через «1-с» поступила из Берлина телеграмма о том, что «дубликат личного дела зондерфюрера Бауэра Георга, согласно вашему запросу, высылается». Это не сулило мне ничего хорошего: ведь в личном деле находилась фотокарточка настоящего Георга Бауэра.

Я поставил в известность Большую землю и в ответ получил указание: немедленно сменить «место службы», а в случае невозможности переходить линию фронта в районе Харькова или плавней Кубани.

Числа 25-го июля, воспользовавшись командировкой в Киев, я вместе с группой наших людей, переодетых в немецкую форму, выехал в направлении Синельникова. Снова начались скитания по немецким продпунктам, привокзальным комендатурам, завязывание знакомств с немецкими военнослужащими. В то время вокзалы и поезда были забиты ранеными, которые хлынули с Курской дуги. Многие следовали в южные районы Крыма, где были расположены батальоны выздоравливающих и санатории.

Я познакомился с зондерфюрером Рудольфом Киршем. После тяжелой дизентерии он ехал на отдых в Гаспру, до этого служил в Орле. Так же как и Георг Бауэр, Кирш был уроженцем Силезии и почти моим [262] ровесником — 1922 года рождения. В Синельникове мы провели с ним несколько суток — никак не могли попасть на нужный нам поезд — и очень близко сошлись. Это

были веселые денечки. Забыв о своей дизентерии, Рудольф Кирш «гулял» напропалую, ел и пил, да и я «нажимал» на сырые фрукты, потому что мне до зарезу нужно было заболеть дизентерией или хотя бы расстройством желудка: на свое несчастье, Рудольф Кирш оказался тем человеком, жизнь которого я должен был продолжить в немецком санатории, в Гаспре.

На третий, кажется, день мы всей компанией — Кирш, я и мои попутчики — забрались в пустой вагон товарного поезда, шедшего в Крым. Между станциями Синельникове и Чаплино мы связали Кирша, переодели в мою форму и с документами Бауэра в кармане френча спустили под колеса.

Сейчас, по прошествии двух десятков лет, в мирное наше время, вспоминать об этой операции неприятно. Но тогда передо мной был не человек, а фашист, гестаповец, враг, и единственное, о чем я думал, — это как бы скорее и без лишнего шума его прикончить…

Дело было сделано, и, таким образом, карьера «зондерфюрера Георга Бауэра» завершилась. Зато «Рудольф Кирш» шагнул далеко…

* * *

Я не стану подробно рассказывать, как приехал в Гаспру, как, находясь в санатории, добился назначения в контрразведку 17-й армии, а оттуда вместе с зондеркомандой попал в Белоруссию, в Мозырь, где получил назначение в местное СД. [263]

Здесь методы моей работы мало отличались от таганрогских. На мою долю «громких операций» выпадало немного, — я работал главным образом с документами, хотя каждый из таких «отработанных» мной документов превращался впоследствии в немецкий эшелон, пущенный под откос, в сорванную немецкую операцию и в тысячи спасенных жизней советских солдат. Но сам я в этом непосредственно участия не принимал.

В Мозыре я каждый день виделся с Кристманом и откровенно могу сказать, что был тогда у нас замысел этого Кристмана выкрасть: белорусскими партизанами уже вынесен был ему приговор, и операция по его похищению тщательно разрабатывалась. Однако и сам Кристман не дремал; он, видимо, чувствовал, что расплата близка, особенно после акции в Костюковичах, и напирал на свое начальство, упрашивал, чтобы его поскорее отозвали в Германию» Таким образом, ему тогда удалось уйти от возмездия.

Расскажу о тяжелом испытании, выпавшем на мою долю.

Еще до войны, в Москве, у меня была хорошая знакомая Аня. Она жила с нами по соседству, в одном дворе, работала в райкоме комсомола инструктором. Потом, когда я попал на курсы переводчиков, я ее случайно там встретил. Теперь мы были оба солдатами, и это нас еще больше сблизило. Но вскоре Аню куда-то перевели, я тоже уехал, так что связь между нами прервалась…

В декабре 1943 года я находился в СД в Мозыре и узнал, что к нам доставлена советская парашютистка-десантница Клава Кораблева, которая организовала [264] в одном из сел подпольную группу. Провалила, то есть выдала ее, подруга, заброшенная вместе с ней и перевербованная немцами. Еще до того, как увидеть арестованную парашютистку, я присутствовал на

допросе этой подруги-предательницы и слово в слово переводил ее показания.

Выяснилось, что заброшены они были очень неудачно. Клава с вывихнутой ногой добралась до какого-то дома, где сказала, что ехала к брату и по дороге упала с машины. Клаву приютили, она осталась жить в этом селе и постепенно начала сколачивать вокруг себя патриотическую группу. К тому времени объявилась и ее напарница, имевшая при себе рацию.

В группу вошли местная учительница и 10–12 комсомольцев. С их помощью у обочин шоссе были вырыты окопы для наблюдения за передвижением немецких войск. Немного позже удалось привлечь одного железнодорожного рабочего и начальника станции, которые наблюдали за движением немецких эшелонов. Сводки по рации передавались на Большую землю.

Осмелев и освоившись, подпольщики через Большую землю запросили магнитные мины для производства диверсионных актов. В самый разгар подготовки Клава была задержана контрразведкой. Но через несколько дней Клаву выпустили; освобождению ее способствовал какой-то полицай. По утверждению доносчицы, этот полицай влюбился в Клаву, выпустил ее и к тому же стал сообщать Клаве интересующие ее сведения.

Арестованы они были, когда у радистки отказало питание и подпольщицы пытались достать батареи. [265]

Первой схватили радистку, привели в немецкое гестапо, и, спасая свою жизнь, она выдала всю группу. Одному только полицаю удалось скрыться.

Теперь я видел перед собой эту доносчицу. Она была уже полностью обработана немцами.

Показания она давала охотно, заглядывая в глаза мне и следователю…

Чего только не делает с некоторыми людьми страх смерти! Ведь совсем недавно эта девушка шла на риск, на подвиг, но в решающую минуту страх оказался сильнее убеждений, и теперь она отдавала душу и тело ради того, чтобы откупиться от смерти, причем отдавала с какой-то лихорадочной поспешностью: боялась, что могут еще и не взять. Я не раз подмечал эту особенность: совершив первый предательский шаг, человек стремится погрузиться в свое предательство как можно быстрее и глубже, спешит обрубить все канаты, чтобы ничто уже не связывало его с прежней жизнью.

И сидит эта девушка и сыплет, сыплет именами, фактами, раскрывает пароли, позывные, места явок…

Обычно в таких случаях моя задача была хотя бы остудить этот предательский пыл, внезапным окриком перебить настроение, попытаться увести допрос в другую сторону. Но на этот раз я вступил в дело слишком поздно — группа была уже провалена полностью…

Я знал, что арестованные, несмотря на зверские пытки, держатся стойко, слышал и о том, что Клаве Кораблевой немцы придают особое значение, домогаются от нее подробностей о полицае.

Решил я на эту Клаву посмотреть: вызвался доставить ее из тюрьмы на допрос… [266]

Должен сказать, что в те дни мои мысли были заняты совсем другими делами и отвлекаться на историю с провалившейся подпольной группой мне, пожалуй, даже не следовало.

В начале 1944 года в высоких немецких сферах уже стали приходить к выводу о неизбежном поражении Германии: во всяком случае, если речь еще не шла о безоговорочной капитуляции, то исход Восточной кампании был для них очевиден. Но именно тогда, накануне своего поражения, они стали готовиться к третьей мировой войне, к реваншу, создавали новую агентуру, которая, — неважно, под чьей эгидой , — будет вести подрывную деятельность против СССР уже в мирное время. В частности, в Белоруссии, после эвакуации немецких войск, должна была остаться группа агентов.

Главным моим заданием было выявлять эту агентуру. И когда сразу же после освобождения Мозыря нашими органами были арестованы фашистские шпионы и диверсанты, никто из этих преступников, конечно, не подозревал, что еще в те дни, когда Белоруссия находилась в руках немцев, их имена были сообщены на Большую землю не кем иным, как зондерфюрером Рудольфом Киршем…

Я к этому времени сильно упрочил свое положение, моя гестаповская карьера полным ходом шла в гору. Повысилась и ставка в игре. Со дня на день я ждал перевода в абвер, где под руководством доктора Эверса должен был готовиться к заброске в советский тыл в качестве немецкого резидента. Появилась заманчивая возможность «принимать» и обезвреживать фашистскую агентуру уже на советской территории. [267]

Понятно, что в этих условиях я проявлял максимум осторожности и полностью сконцентрировался на поставленной передо мной задаче. Отклоняться на другие дела мне было строжайше запрещено.

И все же меня тянуло поближе познакомиться с этой Кораблевой, и я отправился к ней в камеру.

Когда я вошел, девушка что-то вязала (видимо, немцы оказали ей эту милость). Она повернулась ко мне, и я узнал…

Это была та самая Аня…

Увидев меня, она страшно испугалась, но не сказала ни слова, виду не подала, что мы с ней знакомы. Как передать, чего стоила нам обоим эта немая сцена?

Мы вышли. Аня шла впереди, такая хрупкая, худенькая, в стареньком, поношенном пальтишке. Я, с пистолетом, сзади.

И вот здесь, на улице Мозыря, по дороге в гестапо, я назвал ее по имени:

— Аня!.. И добавил:

— Я свой…

Не оборачиваясь, она тихо сказала:

— Я это знаю… Я думаю о тебе хорошо. И ты обо мне думай хорошо…

Я сказал:

— Аня, единственное, что мы можем сделать, — это бежать вместе. Других шансов нет…

Она ответила:

— Бежать нам некуда… Раз уж ты здесь, то продолжай свое налаженное дело. Выбирать нам не приходится. Ты должен остаться, а о себе я подумаю сама… [248]

В этом не было никакой позы, «благородного порыва», — тут все разумелось само собой. Мы ведь были не просто так «героями», а выполняли работу и несли за нее ответственность. Говорят, и один в поле — воин. Но одни мы, конечно, никогда не были. И там был у нас коллектив, группа советских работников, связанных между собой: опытные чекисты и молодежь вроде меня — недавние студенты и студентки, комсомольцы из московских, ленинградских вузов, минчане. Было чувство локтя, координация действий, поддержка с Большой земли. Не то что нас забросили, а там плыви, как хочешь, по воле волн. Мы знали, что есть люди, которые нами руководят, направляют и подправляют наши действия, заботятся о нас и наших семьях, но всегда, если нужно, могут с нас строго спросить. Мы словно находились в особой командировке, и все, что сейчас именуется героизмом, было для нас *делом.* Вот отчего какая-нибудь девушка или парень, оказавшись за гранью советской жизни, без всякого видимого контроля, когда твой единственный спутник — смерть, не сходили с ума от страха и не бросали работу. Мало кто думал о славе, о наградах. Здесь другое играло роль: ответственность друг перед другом и перед государством, которое тебе оказало доверие.

И конечно же была не умозрительная, а непосредственная ненависть к врагу, к фашизму, лицо которого мы, находившиеся в немецком тылу, знали как никто…

Я доставил Аню в гестапо, затем отвел обратно в тюрьму и мучительно стал думать, как ей помочь. Был у меня на примете солдат Роберт Кройцзингер, [269] австриец. По моим наблюдениям, ему не очень-то нравилась служба в гестапо: то ли совесть его грызла, то ли он побаивался возможной расплаты. При этом он был явно неравнодушен к Ане, испытывал к ней своеобразную нежность.

Однажды, когда Кройцзингер вывел Аню на прогулку в тюремный двор, я присоединился к нему и стал над ним подтрунивать, что знаю, мол, об его «страсти». Потом кивнул в сторону Ани:

— С этой вопрос ясен. Через пять дней повезем ее на расстрел. Исполнение приговора поручат тебе.

Кройцзингер побледнел: он хорошо знал, что, заметив его «влюбленность», начальство может дать ему такое задание.

А я уже заговорил о другом: мы в мешке и, как тогда, на Волге, можем попасть в лапы к большевикам.

— Тебе-то что! — сказал я как бы в шутку.- Ты солдат, к тому же не немец, а австриец. Взял да сбежал с этой девкой к партизанам. И все. А я офицер, меня русские тут же повесят.

Потом добавил уже серьезно:

— Все это, разумеется, вздор! Будем сражаться, как подобает немцам. Пусть мы погибнем, но великая Германия все равно победит!

Иначе говоря, я весьма доходчиво обрисовал Кройцзингеру обстановку и подсказал возможность спастись от возмездия. В то же время я вел себя совершенно естественно, не давая никаких оснований на меня донести.

А на следующее утро я узнал, что из-за «неосторожного обращения с гранатой» Роберту Кройцзингеру [270] взрывом оторвало руку. Он предпочел «выбыть из игры» заблаговременно.

Таким образом, этот вариант спасения Ани отпал.

Запрашивать Большую землю о разрешении на совместный побег было бессмысленно. Там от меня ждали совсем иных действий и готовили почву для моей работы в Польше, в абвере, где я должен был тренироваться перед заброской в Советский Союз.

Оставалось затягивать следствие. К этой тактике я уже однажды прибегал: накопил как-то в тюрьме сорок семь арестованных подпольщиков, под всякими предлогами оттягивая их расстрел, пока партизаны не устроили налет на тюрьму. Но сейчас на это рассчитывать нельзя было, так как перед эвакуацией гестапо старалось как можно быстрее закруглить все здешние дела.

Попробовал я пойти и на такую уловку. В некоторых случаях в «порядке поощрения» гестаповцам разрешалось брать себе в наложницы арестованных женщин. Я направился к шефу, попросил отдать мне Кораблеву. Он сперва пообещал, но потом отказал: Кораблева считалась слишком тяжелой преступницей.

Один вариант рушился за другим…

Несколько раз я навещал Аню в камере. Она очень осунулась, ослабла, с трудом выдерживала нечеловеческие пытки, но никого не выдала, ни одного признания не могли от нее добиться.

Со своей стороны Аня предпринимала отчаянные попытки спастись.

Как-то утром ко мне зашел дежурный офицер Марханд и рассказал, что он, по приказу [271] Кристмана, исполнил над Аней приговор. Перед самым расстрелом Кристман отдал ее на растерзание своим эсэсовцам. Марханд излагал эту сцену со всеми отвратительными подробностями и гнусно смеялся.

И я все это слушал, подхихикивал и не мог, не имел права его убить.

В тот же день мне показали обезображенный труп Ани…

Это было для меня самым тяжелым несчастьем — ощущение собственного бессилия…

* * *

Последний этап моей службы проходил в абвере, в Польше. Меня готовили к заброске в Советский Союз, заставляли «совершенствоваться» в русском языке и знакомиться с «советским образом жизни».

Смешно было слушать фашистские лекции о советской действительности, о «русском характере» и читать информационные бюллетени о положении в СССР, составленные из сплошных небылиц. Видимо, авторы этих бюллетеней меньше всего думали о пользе дела, а только старались угодить начальству. В бюллетенях, например, самым серьезным

образом сообщалось о «пронемецких настроениях» советской молодежи, о «ритуальных убийствах», совершаемых в Москве и в Ленинграде евреями, о телесных наказаниях в советских школах.

В лекциях русский человек изображался как прирожденный анархист, инстинктивно отрицающий всякую государственность и в то же время в силу «женственности» своего характера жаждущий иметь над [272] собой «железную» власть «повелителя», «мужчины», то есть немца. В немце, по утверждению лекторов, русский испокон веков привык видеть высшее существо… Русский народ в представлении гитлеровских дурачков выглядел пассивной массой с чрезвычайно низкими запросами, способной безропотно выносить голод, нужду и эксплуатацию.

И это говорилось в то время, когда русский народ уже сокрушал германскую военную машину!

Но такова была сила бюрократической фашистской тупости, сила стандарта и лжи. Фашисты не могли не лгать даже в документах для внутреннего пользования, где объективность, казалось бы, является непременным условием…

…Все эти месяцы в Польше — с мая по август — я подвергался усиленной проверке. Хотели убедиться в том, готов ли я выполнить столь опасное задание в невыгодной для Германии ситуации. Надо было доказать, что даже в случае поражения «рейха» я буду продолжать бороться за фашистские идеи, что не мыслю своей жизни без «великой Германии».

И я доказывал… Мой новый начальник, престарелый гестаповец Кламмт, нарадоваться не мог, глядя на молодого сотрудника Рудольфа Кирша. Он без меня шагу не мог шагнуть, я был его памятью, глазами и правой рукой. Чуть отлучишься — он уже нервничает:

— Где Руди? Позовите Руди!

6 августа 1944 года я вторично принял присягу на верность фюреру, 7 августа через связного передал на Большую землю последнюю сводку. [273]

Дальнейшие события развернулись следующим образом.

8 августа нас всех вызвали на совещание в Познань. Собралась вся гестаповская братия — начальники отделов контрразведки, абвера, полевых гестапо. Мы с Кламмтом прибыли вместе, сидели в офицерской столовой, обедали. Никогда еще я не чувствовал себя так уверенно, легко и, я бы сказал, весело. Меня словно заразила та общая атмосфера нервного подъема, ощущения важности дела, которая всегда предшествует большим совещаниям, куда допускаются только самые проверенные лица… Приятно сознавать, что ты «вхож» туда, куда другие «не вхожи», куда ни за какие деньги невозможно пройти, что ты принадлежишь к числу «допущенных».

И вот в этой самой столовой, среди бодро жующих, оживленно беседующих и приветливо улыбающихся друг другу людей, я вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд…

За соседним столиком сидел начальник контрразведки 6-й армии — мой бывший шеф, комиссар Майснер, и смотрел на меня.

Хотя я и привык ко всяким неожиданностям и ко всему был готов, колени у меня задрожали.

Майснер встал из-за столика, подошел к нам и строго, как на допросе, спросил:

— А вы как оказались здесь, воскресший из мертвых?

— Господин комиссар, вы принимаете меня за кого-то другого…

— За кого я вас принимаю, вы узнаете позже. Но в Шахтах и в Таганроге я знал вас как Георга [274] Бауэра, который окончил свою жизнь под колесами поезда…

— Мое имя Рудольф Кирш, господин комиссар. Господин комиссвр Кламмт может это подтвердить…

Но Кламмт молчал. Он весь посерел, видно, был не на шутку испуган: конечно, не из-за меня, а из-за себя, потому что такого «ротозейства» ему бы никогда не простили.

Зато Майснер торжествовал, убивая одновременно двух зайцев: разоблачил советского разведчика, а главное — угробил своего коллегу Кламмта. Взаимная ненависть и всякого рода интриги были в гестаповской среде стилем поведения, несмотря на все их разговоры о «боевом товариществе». Думаю, что Майснер уже предвкушал, как, доставив меня на совещание, громогласно объявит: «Здесь, среди нас, находится господин со многими фамилиями, которому покровительствует комиссар Кламмт. Этот господин уже умер однажды, посмотрим, воскреснет ли он во второй раз?» — или что-нибудь еще в этом духе…

Правда, арестовать он меня пока своей властью не мог, так как я находился в подчинении Кламмта. Но тот, в свою очередь, не спешил, хотя уже все понял и знал, что придется ему за меня расплачиваться если не головой, то карьерой. Именно поэтому он решил не обнаруживать свой провал перед Майснером, надеясь убрать меня позже, без свидетелей.

Я сделал знак Майснеру и попросил его выйти со мной на улицу. [275]

— Господин комиссар, — сказал я твердо, — все, что сейчас происходит, вызывает у меня крайнее удивление. На каком основании вы раскрываете мое настоящее имя? Или вы не осведомлены об операции «Фукс»?..

Конечно, никакой операции «Фукс» не существовало, — просто я пытался таким образом ошеломить Майснера и выиграть время.

— Игра, которую я вел в Таганроге, командованию известна. Впрочем, если угодно, я готов объясниться с вами после совещания…

Майснер с удивлением посмотрел на меня.

Я откланялся и спокойно вернулся в столовую, но не в общий зал, а в подсобное помещение, откуда черным ходом вышел во двор.

Через час я уже находился на конспиративней квартире, специально созданной нашей разведкой с помощью польских патриотов. И вот что самое любопытное: как я впоследствии узнал, ни Майснер, ни Кламмт не доложили о моем бегстве. Обо мне говорили, будто я похищен подпольщиками.

Гестаповцы были верны себе: оба соперника боялись ответственности и предпочли замять дело… Может быть, они даже радовались тому, что мне удалось скрыться.

11 или 12 августа 1944 года я был доставлен на Большую землю — сначала в штаб дивизии, а оттуда в штаб армии. И когда в штабе армии лег спать, впервые за полтора года во сне начал бредить.

А потом… Получил свой комсомольский билет, зарплату за все месяцы, списался с домом. Вручили награды: ордена Красного Знамени, Отечественной аойны, медали. [276]

После войны демобилизовался, поступил в институт, окончил, сейчас работаю инженером. Член партии. Женат. Имею дочь, сына… Ну, что еще? Хочу, чтобы на земле был мир, чтобы мы никогда больше не воевали.

Я видел все. Встречал на своем пути величайших злодеев, предателей, но и много хороших, честных людей, которые мне помогали, — и русских, и украинцев, и белорусов, и поляков, и румын, и немцев.

За полтора года на той стороне обезвредил с десяток гестаповцев, спас жизнь многим советским патриотам, а вот самую близкую не сумел спасти.

Я пришел к родителям Ани, рассказал о ее героических делах, постарался увековечить ее память. Помог восстановить имена и подвиги подпольщиков, расстрелянных гитлеровцами.
Вот и все, пожалуй…

* * *

Этот рассказ я записал почти дословно и привожу его здесь без всяких изменений, в том виде, в каком он лег в мой блокнот. Хотел было сперва облечь его в «художественную форму», но беллетристика здесь ни к чему, да и что может добавить фантазия к фактам — к сцене прибытия Георга Бауэра в Шахты или к той невыдуманной повести о двух влюбленных, которые навсегда расстались в Мозыре?..

Много я читал книг про разведчиков, смотрел фильмы: там действовали романтические фигуры, современные красавцы, «Оводы» с горящими глазами,- но передо мной сидел обычный человек и, [277] рассказывая свою легендарную жизнь, все смущался: не отнял ли он у меня «драгоценного времени» и как бы я в своем описании не изобразил его слишком большим героем, потому что «на войне все были героями»…

Но война есть война, а мир есть мир. И все это уже в далеком прошлом: таганрогское гестапо, мозырское СД, комиссар Кламмт и «подвиг разведчика». И Миронов давно уже нашел себя в мирной жизни; это я разбередил его воспоминания, сам он не очень любит вспоминать и не принадлежит к числу тех, кто докучает людям «боевыми эпизодами»…

Сейчас мы находились с ним как бы в двух различных временах: я, погруженный в свой «материал», был где-то в году сорок четвертом или в сорок пятом и на Миронова смотрел так, как если бы он только что вернулся «*оттуда* », а он жил в шестьдесят пятом году, причем чувствовал себя в этом шестьдесят пятом году совершенно естественно. Для него все было «*естественно* »: и то, что пошел на фронт, и что перешел линию фронта, и, вернувшись, стал рядовым, без всяких «привилегий», студентом, а затем инженером. И он взглянул на меня даже с некоторым огорчением, когда я стал изумляться его подвигам и расспрашивать, какие он испытывал чувства, когда из «легендарного героя» вдруг превратился в обычного студента, с зачетами, каникулами, поездками «на картошку» и выпуском факультетской стенгазеты. Наверно, с его точки зрения, такой вопрос мог задать только

человек посторонний, который с трудом понимает, что ради всей этой простой, «естественной», без «привилегий», жизни он и отправился туда, в [278] бездну, на смертельный риск и головокружительный подвиг.

А когда я, чтобы уж ни в чем не ошибиться, начал выяснять с ним «психологию подвига разведчика» и «движущие мотивы», он и вовсе поскучнел, замкнулся, предоставляя мне возможность самому, без его помощи, заглянуть «по ту сторону легенды».

1964–1965

Примечания

{1} Про зондеркоманду суд не знал. По приговору 1943 года Еськов был осужден за службу в немецких вспомогательных частях.

{2} В Западной Германии такие демагогические утверждения проповедуются подчас совершенно открыто. Вот письмо, опубликованное газетой «Дейче национаиль унд зольдатенцейтунг» (1965, № 40). Ганс Катцер пишет племяннику:

«Знай, что под мундирами вермахта и СС бились добрые человеческие сердца… Не поддавайся влиянию бульварной литературы, которая пытается оклеветать всех немцев, избавь себя от какого бы то ни было «комплекса вины»… Другие народы ничуть не лучше немцев, они только большие притворщики и лицемеры…»

{3} На Нюрнбергском процессе свидетель Олендорф, предшественник Биркампа на посту начальника эйнзацгруппы «Д», благодушно рассказывал:

«Промежуток между действительной казнью и осознанием, что это совершится, был очень незначительным…» («Нюрнбергский процесс», сборник материалов, т. 4, стр. 631.)

И дальше:

«Женщины и дети… должны были умерщвляться именно таким образом, для того чтобы избежать лишних душевных волнений, которые возникали в связи с другими видами казни. Это также давало возможность мужчинам, которые сами были женаты, не стрелять в женщин и детей» (там же, стр. 641).

{4} В «Нюрнбергском дневнике» Г. Джилберта, судебного психолога на Нюрнбергском процессе, приводится его разговор в зале суда с Гансом Франком и Альфредом Розенбергом:

«*Франк.* Они (т.е., судьи) хотят навешать на Кальтенбруннера обвинение в том, что в Освенциме убивали по две тысячи евреев в сутки. Но кто ответит за 30 тысяч человек, убитых за два часа в Гамбурге?.. И это — справедливо?!

Розенберг (смеясь). Да, конечно: мы же проиграли войну». (G. M. Gübert, «Nuremberg diary». Цитируется по немецкому изданию «Nürsnberger Tagebuch», стр. 257-258).

Стремление приравнять нацистские злодеяния к другим бедствиям и трагедиям войны характерно для гитлеровских преступников и для сегодняшних реваншистов. В том же «письме к племяннику» Ганс Катцер в «Зольдатенцейтунг» лицемерно пишет: «Невинные жертвы, погибшие в Дрездене, Гамбурге, Берлине, заслуживают тех же слез сострадания, что и жертвы немецких концлагерей».

{5} Такого рода «самокритика» (уничтожение евреев — тактическая ошибка!) была весьма распространена среди нацистских кругов, особенно сразу после разгрома фашистской Германии. Руководитель гитлеровского трудового фронта — военный преступник Роберт Лей, накануне самоубийства в нюрнбергской тюрьме, писал в своем «Завещании»:

«Антисемитизм исказил нашу перспективу… Мы, национал-социалисты, должны иметь силу отречься от антисемитизма. Мы должны объявить юношеству, что это была ошибка… Закоренелые антисемиты должны стать первыми борцами за новую идею…»

Разумеется, речь здесь идет не о раскаянии, а о попытке модернизировать фашизм, придать ему более гибкие, «современные» формы. Тот же Роберт Лей писал:

«Национал-социалистская идея, очищенная от антисемитизма и соединенная с разумной демократией,- это наиболее ценное, что может предоставить Германия общему делу…» (Цитируется по книге А. И. Полторака «Нюрнбергский эпилог». М., 1965, стр. 44 и 92.)

Это писалось в 1945 году, но и в 1956-м, и в 1960-м, и и 1963-м годах, и позже я встречал в Западной Германии многий вчорашних (а возможно, и сегодняшних) приверженцев Гитлера, которые основной *тактической* ошибкой «фюрера» считали его политику в «еврейском вопросе». Никто из моих собеседников не выражал при этом ни малейшего сожаления по поводу участи шести миллионов человек, расстрелянных, сожженных, отравленных газом, закопанных живьем. Они сетовали на другое; «Если бы не наша *ссора* с евреями, Рузвельт не вступил бы в войну», «из-за антисемитизма мы лишились многих ценных специалистов, ученых-физиков», «Гитлеру не хватило благоразумия! Эта история с евреями озлобила всех» и т. д.

{6} В сборнике документов об оккупационной политике фашистской Германии на территории СССР «Преступные цели — преступные сродства» (Москва, 1963) на стр. 41–47 напечатан отрывок из речи Альфреда Розенберга, произнесенной 20 июня 1941 года, то есть за два дня до нападения на Советский Союз. В ней сказано:

«Одна точка зрения считает, что Германия вступила в последний бой с большевизмом и этот последний бой в области военной и политической нужно довести до конца; после этого наступит эпоха строительства заново всего русского хозяйства и союз с возрождающейся национальной Россией… Я уже на протяжении 20 лет не скрываю, что являюсь противником этой идеи…

Целью германской восточной политики по отношению к русским является то, чтобы эту первобытную Московию вернуть к старым традициям и повернуть лицом снова на Восток…»

В одном из архивов мной обнаружен любопытный документ — свидетельство того, что в фашистских «верхах», да и в «низах», еще до войны, а особенно *в* первые ее месяцы всерьез обсуждались две «концепции» будущего управления побежденной Россией. Обе «концепции» предусматривали полное порабощение советского народа, убийство миллионов людей, ликвидацию Советского Союза и расчленение его территории и т. д., однако между авторами различных проектов существовали некоторые тактические разногласия. Наиболее оголтелые и нетерпеливые предлагали сразу же расстрелять или отправить в душегубки большую часть населения. Другие же считали, что нужно на первых порах действовать осторожнее.

Вот несколько выдержек:

«Имеет смысл достичь сотрудничества с гражданским населением путем обещаний хозяйственного и экономического рода. Но, как бы это ни было важно, прежде всего мы должны привлечь на свою сторону русского солдата… Очевидно, что мы в дальнейшем не откажемся от реального сотрудничества с определенной группой верных нам и удостоенных нами доверия русских. В конце концов, Восточный поход является лишь частью нашей общей победы. В этом смысле война не кончится и после того, как мы завоюем всю Россию. Для… антикоммунистически, антисемитски настроенных русских наше пренебрежительное отношение к их содействию являемся основанием для того, чтобы бороться против нас… Союз русских добровольцев воспринимался бы по ту сторону всерьез, о нем стали бы говорить, и он нашел бы целый ряд приверженцев…

Бесспорно, что «освобождение от коммунизма» не явится достаточно веским аргументом до тех пор, пока русские будут воспринимать это как возвращение эмигрантов. Поэтому стоит подумать, не выдвинуть ли другой мотив: обещание передать управление на отвоеванных нами территориях России тем людям, которые хотя и жили при коммунистическом господстве, но за 25 лет существующей власти не приобрели никаких особых богатств и привилегий. Иными словами, в первую очередь должны исчезать только те люди, которые рассматривали коммунизм как идеал и как религию, а не просто как обычную государственную власть… Такие или близкие к этому воззрения мы должны, безусловно, поддерживать, чтобы не возникла большая опасность, при которой под ударами германской армии возникнет единый русский народ… Поэтому мы будем добиваться создания русских добровольческих союзов, проводя вместе с тем *политику сохранения немецкой крови, путем окончательного решения — в нашем толковании этих терминов* …»

Сегодня общеизвестно «толкование» этих терминов: «окончательное решение», «сохранение немецкой крови» — шифрованные обозначения массовой ликвидации.

{7} Выставка, о которой идет речь, была открыта 19 июня 1937 г. в Мюнхене. Сожжение картин произошло 20 марта 1939 г. во дворе пожарной команды в Берлине.

{8} Несмотря на «немецкое подданство», попасть в Германию Вейху так и не удалось: путь на запад ему перерезала Красная Армия, и он, скинув немецкую форму вместе с железным крестом, затесался в толпу угнанных, возвращавшихся на родину, и добрался до глухих кемеровских мест.

{9} Фамилии некоторых свидетелей автором изменены.

{10} Немецкий человек.

{11} Образ разведчика Миронова — собирательный.

{12} А, Георг! Выстрел в затылок!